Большевизм, моральная ответственность за историю и историческая неизбежность

1. Постановка проблемы: были ли большевики причиной русской катастрофы?

В привычном изложении русской истории XX века причинная цепочка выглядит достаточно просто. Существовала Российская империя со всеми её противоречиями, затем произошла революция, большевики захватили власть, разрушили прежний государственный и социальный порядок, после чего страна погрузилась в Гражданскую войну, террор и хозяйственную катастрофу. При таком взгляде большевизм оказывается главным источником произошедшего: не будь Октября, Россия могла бы продолжить путь постепенного политического и социального развития.

Однако эта схема становится значительно менее очевидной, если посмотреть не только на то, что произошло после октября 1917 года, но и на состояние страны к моменту прихода большевиков к власти.

К осени 1917 года Россия уже пережила падение монархии. Старая система государственной легитимности была разрушена. Армия стремительно утрачивала управляемость. В деревне разворачивался самовольный передел земли. Центральная власть всё хуже контролировала провинцию. На окраинах возникали собственные политические центры, а требования автономии всё чаще переходили в вопрос о самостоятельной государственности. Советы фактически существовали параллельно с органами Временного правительства. Само государство всё заметнее теряло способность проводить решения от центра к периферии.

И всё это произошло ещё до большевистского переворота.

Поэтому возникает вопрос, который обычно оказывается заслонён последующими событиями: **были ли большевики причиной русской катастрофы — или они сами стали продуктом уже разворачивавшейся катастрофы?**

Возможно, к осени 1917 года Россия находилась уже не перед нормальным выбором между либеральной демократией и большевистской диктатурой. Возможно, пространство политических возможностей за предыдущие десятилетия настолько сузилось, что речь шла прежде всего о том, какая из оставшихся сил окажется способна вновь создать действующий центр власти и остановить распад.

Такой вопрос вовсе не означает оправдания большевиков.

Историческая обусловленность поступка не уничтожает моральной ответственности за него. Даже если человек получает ситуацию, которую создали до него, он остаётся ответственным за собственный выбор внутри этой ситуации.

Поэтому необходимо различать две совершенно разные формы ответственности.

Первая — **ответственность за возникновение самой исторической ситуации**.

Она формировалась задолго до Октября: неспособностью монархии своевременно перестроить политическую систему, революционным терроризмом, постепенным разрушением нравственного запрета на политическое насилие, радикализацией общества, мировой войной, Февральской революцией и распадом центральной власти.

Вторая — **ответственность за действия внутри уже возникшей ситуации**.

И здесь начинается собственная ответственность большевиков: за захват и удержание власти, за ликвидацию политической конкуренции, за террор, за формы государственного принуждения и, как будет показано далее, за попытку радикально ускорить само историческое время — осуществить за несколько лет преобразования, которые в обычном ходе общественного развития требуют десятилетий.

Именно поэтому вопрос о неизбежности революции нельзя свести ни к формуле «большевики во всём виноваты», ни к противоположной формуле «история не оставила им выбора».

История вообще редко действует таким образом.

Историческая неизбежность не означает заранее написанного сценария. Скорее она возникает тогда, когда множество решений, принятых людьми в прошлом, постепенно уничтожают одни возможности и делают другие всё более вероятными.

В определённый момент свобода предыдущих поколений превращается в ограничение свободы последующих.

Именно с этой точки зрения в настоящей статье будет рассматриваться русская революция.

Главный вопрос заключается не в том, могли ли события теоретически развиваться иначе. Теоретически почти всегда можно представить другой ход истории. Гораздо важнее другое:

существовали ли к 1917 году реальные политические силы и реальные механизмы, способные осуществить этот альтернативный путь?

И если таких механизмов уже почти не осталось, возникает следующий, значительно более трудный вопрос:

где заканчивается моральная ответственность человека и начинается историческая необходимость, которую создали решения тех, кто жил до него?

И наконец — самый неудобный вопрос всей этой истории:

если большевики пришли к власти уже внутри распадающегося государства, за что именно они должны нести собственную историческую ответственность?

Ответ на него, вероятно, лежит не только в области их целей. Многие провозглашённые ими идеалы — социальная справедливость, массовое образование, социальные гарантии, преодоление сословных перегородок и братство народов — сами по себе трудно считать исторической ошибкой.

Проблема могла заключаться в другом: **в стремлении заставить эти идеалы осуществиться значительно раньше, чем к этому было готово само общество.**

Так вопрос о русской революции постепенно превращается из вопроса о виновниках в гораздо более сложный вопрос — **о свободе, историческом времени и моральной ответственности за попытку это время ускорить**.

2. Российская империя не была обречена социально и экономически

Если большевистскую революцию рассматривать как историческую неизбежность, прежде всего необходимо понять, **в каком именно смысле она была неизбежна**. Важно сразу исключить наиболее простой ответ: будто Российская империя находилась в состоянии такого экономического и социального тупика, что только революция могла вывести ее к современному обществу.

Исторические данные этого не подтверждают.

Россия начала XX века оставалась значительно беднее ведущих стран Западной Европы, преимущественно крестьянской и чрезвычайно неравномерно развитой страной. В 1917 году около 85 процентов населения все еще было сельским, а по доходу на душу населения Россия заметно отставала от Германии, Франции, Великобритании и США. Но одновременно это была страна, уже находившаяся в процессе глубокой модернизации.

Индустриализация уже началась

Особенно очевидно это в экономике.

Период с конца 1880-х годов до Первой мировой войны экономические историки рассматривают как эпоху интенсивной российской индустриализации. Быстро росли промышленность, железнодорожная сеть, города, рынок труда, добыча угля и нефти, металлургия и машиностроение. По оценке Пола Грегори, в 1885–1913 годах чистый национальный продукт Российской империи увеличивался в среднем примерно на 3,25 процента в год, а на душу населения — примерно на 1,7 процента. Для своего времени это были достаточно высокие темпы.

Особенно быстро экономика росла в последние мирные годы перед войной: в 1908–1913 годах выпуск крупной промышленности увеличивался более чем на 7 процентов в год в постоянных ценах 1913 года.

Это не означает, что Россия уже стала современной индустриальной державой западноевропейского типа. Она оставалась страной догоняющего развития с огромным крестьянским сектором и низкой производительностью труда. Но важно другое: **переход уже шел**.

Следовательно, советская индустриализация началась не на пустом месте. Большевики радикально изменили ее темп, методы и институциональную форму, но сам процесс превращения аграрной России в индустриальное общество возник задолго до них.

Крестьянская Россия тоже начинала меняться

То же самое происходило в деревне.

Столыпинская реформа была попыткой изменить саму структуру русского сельского хозяйства: расширить индивидуальное землевладение, ослабить обязательную зависимость крестьянина от общины, стимулировать хозяйственную инициативу и переселение на новые земли.

Историки спорят о результатах реформы и о том, смогла бы она окончательно решить аграрный вопрос. Но сам факт существенного изменения сельских отношений сомнений не вызывает. Исследования показывают, что реформы 1906–1910 годов действительно значительно продвинули развитие индивидуальных прав на землю, хотя процесс остался незавершенным из-за войны и революции.

Именно здесь особенно хорошо видно отличие **неизбежности модернизации от неизбежности большевистского пути модернизации**.

Крестьянский мир все равно менялся.

Вопрос заключался в том, должна ли эта трансформация происходить на протяжении нескольких десятилетий через рынок, кооперацию, переселение, образование и постепенное изменение сельского хозяйства — или ее необходимо было позднее сжать до нескольких лет форсированной коллективизации.

Россия начинала учиться

Не менее важным был образовательный перелом.

По переписи 1897 года грамотность населения империи оставалась чрезвычайно низкой — около 21 процента. Но именно после Великих реформ начинается быстрое расширение начального образования. В нем участвовали государство, церковь, земства, городское самоуправление и общественные организации. Возникали школы, библиотеки, воскресные и фабричные образовательные учреждения.

Одновременно появлялась новая массовая читательская среда. Историки позднеимперской культуры отмечают формирование массовой грамотности и рынка дешевой популярной литературы, рассчитанной уже не только на образованную элиту, но и на крестьян, рабочих и выходцев из деревни.

Это чрезвычайно существенно для оценки советского культурного проекта.

СССР действительно совершил огромный рывок в ликвидации неграмотности и сделал массовое образование практически всеобщим. Но само движение от элитарной культуры к массовой **началось не после Октября**.

Школа, библиотека, массовая печать, популярная литература, городской театр, кинематограф, общественные лекции — все это уже постепенно формировало новую культурную среду.

Можно спорить, сколько десятилетий потребовалось бы дореволюционной России для достижения всеобщей грамотности. Но гораздо труднее доказать, что без большевиков она вообще не могла быть достигнута.

Земства создавали зачатки социального государства

Особое место занимало местное самоуправление.

Земства занимались не только дорогами и административными вопросами. Они создавали школы, больницы, медицинские пункты, санитарную статистику, организовывали борьбу с эпидемиями и постепенно формировали то, что впоследствии стало восприниматься как естественная функция современного государства.

Исследования поздней империи подчеркивают вклад земского и городского самоуправления в образование, здравоохранение и социальные услуги. Городские думы отвечали за санитарное состояние городов, социальную помощь, школы, транспорт и другие элементы общественной инфраструктуры.

Разумеется, земская медицина была крайне неравномерной. Огромные территории оставались плохо обеспеченными врачами. Не существовало всеобщей государственной системы здравоохранения в позднейшем советском смысле.

Но направление развития было уже очевидно:

от благотворительности и частной помощи — к институциональной общественной медицине.

Поэтому и здесь исторически возможна вполне понятная эволюция:

земская медицина → расширение государственного и страхового финансирования → всеобщая система медицинской помощи.

Для такого перехода не требовалась сама по себе социалистическая революция.

Появлялись и элементы социального законодательства

То же касается трудовых отношений.

Еще с 1880-х годов государство начинает регулировать фабричный труд, создавать фабричную инспекцию и ограничивать некоторые наиболее тяжелые формы эксплуатации. Эти меры были неполными, часто плохо исполнялись и сочетались с жестким полицейским контролем над рабочими.

Но процесс постепенно развивался.

В 1912 году были приняты законы о страховании рабочих от болезни и несчастных случаев. Система была ограниченной и значительно уступала, например, германской, однако само появление обязательного социального страхования свидетельствовало о том, что Россия начала двигаться в направлении общеевропейского социального законодательства.

Это особенно важно для нашего исследования.

Пенсии, медицинское страхование, ограничение рабочего времени, защита труда, оплачиваемые отпуска и другие социальные права в XX веке развивались далеко не только в социалистических государствах.

Поэтому нельзя утверждать, что выбор России состоял между:

капитализмом без социальных гарантий

и

большевизмом с социальными гарантиями.

Исторически существовал и третий путь — постепенное формирование социального государства в рамках смешанной экономики, как это происходило во многих европейских странах.

Начинало возникать гражданское общество

Наконец, после революции 1905 года появилась Государственная дума и легальная партийная политика.

Эта система была крайне несовершенной. Полномочия Думы оставались ограниченными, избирательное право — неравным, государь сохранял огромную власть, а первые две Думы были распущены после острого конфликта с правительством. Поэтому говорить о сложившейся парламентской демократии было бы очевидным преувеличением.

Но одновременно происходило нечто более глубокое.

Развивались профессиональные объединения, научные общества, земства, городские думы, кооперативы, культурные общества, общественные организации. Современные исследования поздней империи говорят уже о достаточно развитой сети автономных и полуавтономных общественных институтов и даже о формировании своеобразной публичной сферы.

Россия училась самоорганизации.

И это еще один процесс, который революция не создала.

Россия могла модернизироваться без большевиков

Все эти процессы были противоречивы и незавершенны.

Нельзя из экономического роста 1908–1913 годов механически вывести процветающую Россию 1950 года. Первая мировая война могла случиться при любом политическом строе. Аграрный вопрос оставался чрезвычайно острым. Положение рабочих было тяжелым. Грамотность оставалась низкой. Социальное законодательство существенно отставало от наиболее развитых европейских стран.

Но для нашего исследования важно другое.

В Российской империи уже существовал внутренний механизм модернизации.

Он действовал через промышленное развитие, рынок, государственную политику, земства, образование, кооперацию, реформу сельского хозяйства, городское самоуправление и постепенно расширяющееся социальное законодательство.

Поэтому вполне допустимо предположить, что при сохранении длительного периода развития Россия могла бы постепенно прийти к тому, что в XX веке стало нормой для большинства развитых государств:

массовой грамотности, индустриальному обществу, широкой социальной защите, массовому высшему образованию, современной медицине и массовой культуре.

Возможно, значительно медленнее, чем это произошло в СССР.

Возможно, с гораздо большим социальным неравенством на промежуточных стадиях.

Но сама возможность такого развития существовала.

И отсюда следует первый принципиальный вывод нашей статьи:

Большевизм не был экономически неизбежен. Россия не нуждалась в революции просто для того, чтобы стать современной страной.

Но именно здесь возникает гораздо более трудный вопрос.

Одно дело — наличие объективной возможности исторического развития.

Совсем другое — наличие **политической силы, способной эту возможность реализовать**.

Экономически Россия могла двигаться дальше.

Социально она уже менялась.

Но существовал ли в ней политический субъект, способный сохранить государство, продолжить модернизацию, примирить власть и общество и провести страну через этот переход без новой революции?

Именно здесь оптимистическая картина поздней Российской империи начинает резко меняться.

3. Но существовал ли политический субъект мирной модернизации?

Экономическая возможность мирной модернизации еще не означает ее политической осуществимости.

Можно представить, каким путем Россия могла постепенно прийти к индустриальному обществу, массовому образованию, социальному законодательству и парламентскому государству. Гораздо труднее ответить на другой вопрос:

Кто именно должен был провести Россию по этому пути?

Чтобы мирная модернизация действительно состоялась, требовалась политическая сила, способная соединить несколько качеств одновременно: обладать доступом к государственной власти, признавать необходимость глубоких реформ, иметь достаточно широкую общественную поддержку и быть готовой к компромиссу с другими социальными и политическими силами.

Именно такой силы в поздней Российской империи обнаружить чрезвычайно трудно.

Монархия: власть без готовности отказаться от самодержавия

После революции 1905 года Россия уже перестала быть самодержавием в прежнем смысле. Появилась Государственная дума, были легализованы политические партии, возникло пространство публичной парламентской политики.

Но эта система оставалась внутренне противоречивой.

Основные законы 1906 года сохраняли за императором право назначать и смещать министров, контролировать внешнюю политику и армию, распускать Думу и в определенных обстоятельствах издавать указы в обход нее. Правительство отвечало перед монархом, а не перед парламентским большинством.

Это означало, что Россия получила парламент, но не получила полноценного парламентского правительства.

Николай II мог пойти дальше: постепенно превратить Совет министров в правительство, опирающееся на думское большинство, а самого монарха — в преимущественно символический центр государственной преемственности. Возможность подобного компромисса обсуждалась уже во время Первой Думы в 1906 году, когда шли переговоры о создании министерства с участием парламентского большинства. Они закончились не соглашением, а роспуском Думы.

Таким образом, монархия обладала главным ресурсом — **государственной властью**, — но не была готова последовательно передать значительную часть этой власти новым представительным институтам.

Столыпин: модернизация сверху, но не парламентская демократия

Петр Столыпин, вероятно, ближе других государственных деятелей подошел к попытке соединить сохранение государства и глубокое преобразование общества.

Его программа исходила из того, что империю необходимо не разрушать, а менять. Аграрная реформа должна была создать слой самостоятельных крестьян-собственников, ослабить традиционную общину, увеличить хозяйственную инициативу и тем самым расширить социальную базу устойчивого государственного порядка.

В этом смысле Столыпин действительно представлял альтернативу революции.

Но его модель оставалась **реформаторским авторитаризмом**, а не движением к полноценной парламентской демократии.

Когда первые Думы входили в глубокий конфликт с властью, государство не перестраивалось под парламентское большинство. В июне 1907 года Вторая Дума была

распущена, а избирательный закон изменен таким образом, чтобы усилить представительство землевладельцев и более состоятельных слоев.

Поэтому Столыпин мог быть субъектом социально-экономической модернизации, но значительно труднее представить его субъектом окончательного перехода к парламентской политической системе.

У него была **государственная сила и реформаторская программа**, но не программа последовательной передачи власти обществу.

Октябристы: программа эволюции без массового движения

Если искать политическую партию, наиболее близкую к мирному эволюционному сценарию, то одним из очевидных кандидатов становятся октябристы.

Они принимали основы Октябрьского манифеста, поддерживали монархию, отвергали революционный путь и рассчитывали продолжать реформы через сотрудничество государства и Думы. Их социальной опорой были прежде всего умеренно-консервативное дворянство, предприниматели и состоятельные общественные круги.

То есть у октябристов существовало именно то, чего так не хватало российской политике: идея **эволюционного компромисса**.

Но слабость этой модели была очевидной.

Октябристы не являлись массовой крестьянской или рабочей партией. Более того, даже их попытка устойчивого сотрудничества с властью постепенно исчерпалась. К началу Первой мировой войны партия оказалась организационно ослабленной; исследователи отмечают, что после смерти Столыпина она практически утратила прежнюю политическую роль.

Иными словами, октябристы обладали подходящей политической логикой, но не обладали обществом, которое можно было бы мобилизовать вокруг нее.

Кадеты: программа без государственной власти

С противоположной стороны находились конституционные демократы — кадеты.

Именно они наиболее последовательно требовали перехода к парламентской системе, гражданских прав, верховенства закона, реформы налогообложения и серьезного изменения земельных отношений. Они стремились представить себя общенациональной, надклассовой партией.

По своему представлению о будущем государственном устройстве кадеты были, пожалуй, ближе всего к той либеральной России, которую обычно представляют альтернативой революции.

Но проблема заключалась в их реальных политических ресурсах.

Руководство партии происходило преимущественно из образованной интеллигенции, профессиональных кругов и части либеральных землевладельцев. Кадеты обладали заметным влиянием в публичной политике, но не контролировали государственный

аппарат и не являлись подлинно массовой партией крестьянского большинства. К началу мировой войны их организационная структура вообще находилась в состоянии серьезного ослабления.

Таким образом, у кадетов имелась **политическая программа модернизации**, но отсутствовали необходимые средства ее осуществления.

И здесь возникало еще одно противоречие.

Чем последовательнее кадеты требовали превращения России в парламентское государство, тем сильнее они сталкивались с монархией, которая не хотела передавать парламенту решающую власть. А без сотрудничества с существующим государственным аппаратом провести мирное преобразование государства было практически невозможно.

Эсеры: крестьянская Россия, но уже внутри революционной традиции

Совершенно другой потенциал имела Партия социалистов-революционеров.

Если кадетам недоставало связи с огромной крестьянской массой, то эсеры как раз стремились говорить от имени деревни. Их программа социализации земли и опора на народническую традицию делали их чрезвычайно привлекательными для значительной части крестьянства. В 1917 году именно эсеры получат крупнейшую поддержку на выборах в Учредительное собрание.

То есть они обладали тем, чего не хватало либералам: **потенциалом массовой поддержки в преимущественно крестьянской стране**.

Но эсеры принадлежали уже не к реформаторской, а к революционной политической традиции.

Особенно существенным было то, что партия официально включала политический террор в арсенал революционной борьбы, а ее Боевая организация осуществила ряд наиболее известных политических убийств начала XX века.

Разумеется, эсеровское движение не было однородным. В нем существовали различные течения, включая гораздо более умеренные. Но сама партия возникла как сила, целью которой являлось не постепенное приспособление существующей монархии, а радикальное изменение социального и политического порядка.

Получался новый парадокс:

партия, имевшая один из самых серьезных ресурсов массовой поддержки, была слишком глубоко укоренена в революционной традиции, чтобы естественно стать опорой эволюционного преобразования империи.

Социал-демократы: организованный рабочий класс, но уже за пределами старого порядка

Наконец, быстро растущий городской рабочий класс все сильнее становился естественной социальной базой социал-демократии.

Но и здесь существовал раскол.

Меньшевики постепенно двигались к модели, более близкой европейской социал-демократии. Они считали, что Россия должна пройти этап буржуазно-демократического развития, были готовы сотрудничать с либеральными силами и значительно больше ориентировались на массовую рабочую организацию и легальную политическую борьбу.

В принципе именно из такого направления со временем могла бы вырасти большая парламентская рабочая партия.

Но это требовало времени и устойчивого парламентского режима.

Большевистское направление двигалось иначе. Ленин последовательно создавал централизованную, дисциплинированную организацию профессиональных революционеров и значительно скептичнее относился к сотрудничеству с существующим политическим порядком. Большевики бойкотировали выборы в Первую Думу, а затем сохраняли принципиальную ориентацию на революционное преодоление существующего строя.

Получалось, что наиболее организованная часть рабочего революционного движения не стремилась стать одним из элементов обновленной имперской системы.

Она готовилась к системе, которая должна была возникнуть **после нее**.

Все необходимые элементы существовали — но отдельно друг от друга

И вот здесь обнаруживается основная политическая слабость альтернативного сценария.

Для мирной модернизации России требовалось соединить:

государственный аппарат монархии;

реформаторскую энергию Столыпина;

компромиссную стратегию октябристов;

правовой и парламентский проект кадетов;

массовую крестьянскую опору эсеров;

организованное рабочее движение социал-демократов.

Теоретически из этих элементов могла возникнуть широкая система политического компромисса.

Практически же они существовали **не вместе, а в конфликте друг с другом**.

Монархия опасалась парламента.

Либералы не доверяли монархии.

Крестьянство требовало земли значительно быстрее, чем либеральное государство было готово решать земельный вопрос.

Рабочее движение быстро радикализировалось.

Революционные партии вообще ставили под сомнение легитимность существующего порядка.

А умеренные силы не обладали достаточной массовой опорой, чтобы навязать компромисс одновременно и власти, и революции.

Исследования политической системы перед Первой мировой войной показывают именно эту слабость: партийная система оставалась фрагментированной, многие партии представляли скорее круги интеллигенции, чем устойчиво организованные социальные классы, октябристы слабели, кадеты оставались ограниченной организацией, а социалистические партии находились под полицейским давлением и во многом продолжали подпольное существование.

Не было силы, способной заставить компромисс состояться

Именно поэтому проблема поздней империи заключалась не просто в том, что у нее отсутствовала программа реформ.

Программ было множество.

Не отсутствовали и люди, понимавшие необходимость преобразований.

Проблема была глубже:

не существовало достаточно сильного политического субъекта, который мог бы соединить государственную власть, реформаторскую программу и массовое общество.

Монархия могла управлять, но не хотела достаточно далеко реформировать саму систему власти.

Либералы хотели реформировать систему, но не могли ею управлять.

Умеренные обладали способностью к компромиссу, но слабой массовой базой.

Революционные партии имели растущее влияние среди масс, но значительная их часть стремилась уже не исправить существующее государство, а заменить его.

И отсюда возникает чрезвычайно важное различие между **исторической возможностью и политической реальностью**.

В предыдущем разделе мы увидели, что социально-экономически Россия могла модернизироваться без большевизма.

Но теперь приходится добавить:

наличие возможного пути еще не означает наличия силы, способной по нему пройти.

Именно здесь впервые начинает возникать то, что впоследствии можно будет назвать **историческим сужением альтернатив**.

В 1905 году перед Россией еще открывалось несколько направлений развития.

Но каждый неудавшийся компромисс, каждый конфликт между властью и Думой, каждое разочарование в легальной политике постепенно делали пространство мирной эволюции уже.

При этом существовала еще одна сила, которая разрушала возможность компромисса значительно быстрее любых парламентских конфликтов.

Это был **революционный террор**.

И здесь мы подходим к одной из наиболее специфических особенностей российского революционного процесса: Россия отличалась от большинства европейских стран не просто наличием радикальных партий, а масштабом политического насилия, которое еще задолго до 1917 года стало восприниматься частью революционного движения как нормальный инструмент борьбы за будущее.

4. Русский революционный террор как особенность политической культуры

В предыдущем разделе мы пришли к выводу, что в России существовали отдельные элементы мирной политической модернизации, но не возникло силы, способной соединить их в устойчивый реформаторский центр. Однако этого еще недостаточно, чтобы понять, почему пространство компромисса постепенно сужалось.

Необходимо учитывать еще один фактор, резко отличавший российскую политическую жизнь начала XX века от нормальной парламентской конкуренции: **чрезвычайно широкое распространение революционного терроризма**.

Революционные и социалистические движения существовали во многих европейских странах. Политические убийства и анархистский террор также не были исключительно российским явлением. Но именно в Российской империи террор приобрел особенно развитую идеологию, организационную форму и масштаб. В *Cambridge History of Terrorism* отмечается, что некоторые исследователи вообще рассматривают Российскую империю как одну из родин современного терроризма: именно здесь во второй половине XIX века террор оформился как систематическая революционная стратегия со своей теорией и организационной инфраструктурой. В начале XX века террористические методы за пределами России иногда даже называли «русским методом».

От индивидуального убийства к политической стратегии

Принципиальный перелом произошел еще в XIX веке.

После разочарования части народников в возможности поднять крестьянство путем пропаганды возникла «Народная воля». Она сознательно сделала ставку на систематический террор против верховной власти как средство политического переворота. Исследования истории народничества прямо отмечают переход организации от пропагандистской работы к кампании политического терроризма, кульминацией которой стало убийство Александра II 1 марта 1881 года.

Значение этого события трудно свести только к гибели одного императора.

Возник новый политический прецедент: небольшая организация, не обладающая массовой поддержкой и не способная победить государство в открытой борьбе, попыталась **изменить ход истории посредством тщательно организованного политического убийства**.

Террор приобретал собственную рациональность.

Его задачей становилось не только физическое устранение конкретного человека. Убийство должно было продемонстрировать уязвимость власти, разрушить ее сакральность, вызвать политический кризис и показать обществу, что государство можно атаковать непосредственно. Современное исследование реакции населения на кампанию против Александра II показывает, что «пропаганда действием» действительно проникала в массовое воображение и позволяла части населения связывать собственные местные конфликты с более общими вопросами власти и политической ответственности.

После разгрома «Народной воли» эта традиция не исчезла.

Она стала частью революционного наследия следующего поколения.

Эсеры и превращение террора в партийный метод

В начале XX века наиболее последовательно эту традицию продолжили социалисты-революционеры.

Партия эсеров была единственной крупной объединенной левой партией России, которая формально включала террористическую тактику в свою программу. Ее Боевая организация специально занималась подготовкой политических убийств представителей высшей государственной власти.

Убийства министра внутренних дел Дмитрия Сипягина в 1902 году, министра внутренних дел Вячеслава Плеве в 1904 году и великого князя Сергея Александровича в 1905 году уже невозможно рассматривать как отдельные стихийные акты отчаяния. Это была **организованная политическая стратегия**. Исследование аграрной политики эсеров, например, прямо описывает новую террористическую кампанию партии во время Русско-японской войны и убийство Плеве как один из ее крупнейших успехов.

При этом террор постепенно выходил далеко за пределы тщательно подготовленных покушений на наиболее высокопоставленных государственных деятелей.

Возникали местные боевые организации, анархистские группы, максималисты, практики «экспроприаций», вооруженных нападений и так называемого экономического или аграрного террора.

Политическое насилие начинало распространяться вниз по социальной лестнице.

Мишенью становился уже не только министр или губернатор, символизировавший государственную власть, но полицейский, военный, чиновник местной администрации, землевладелец, предприниматель, а иногда и случайный человек, оказавшийся рядом с местом взрыва.

1905–1907 годы: террор становится массовым

Именно революция 1905 года превращает ранее сравнительно ограниченную традицию политических покушений в явление совершенно другого масштаба.

Здесь необходимо осторожно относиться к статистике. Разные исследователи используют различные определения терроризма и политического насилия, а категории убитых, раненых, чиновников и частных лиц не всегда совпадают. Поэтому невозможно свести весь процесс к одной бесспорной цифре.

Однако различия методик не меняют общей картины.

По одному современному исследованию, только в **1906 году в результате террористических атак было убито или ранено 3 108 человек — в среднем восемь-девять человек в день**.

Еще более впечатляющую статистику приводит исследование политического насилия в царской России: в **1907 году** было убито не менее 1 231 государственного служащего и 1 768 частных лиц, а ранено соответственно 1 284 и 1 734 человека.

То есть речь идет уже не о нескольких десятках громких политических убийств.

Страна столкнулась с **тысячами жертв политического насилия**.

Анна Гейфман в своем исследовании *Thou Shalt Kill* оценивает общее число убитых и раненых революционными экстремистами в рассматриваемый ею период примерно в 17 тысяч человек. В эту статистику входят не только классические политические убийства, но также взрывы, вооруженные нападения, экспроприации, похищения и другие формы революционного насилия.

Поэтому часто встречающуюся формулу о «сотнях политических убийств ежегодно» правильнее даже уточнить: **масштаб революционного насилия был значительно шире, чем число индивидуальных покушений на известных политических деятелей**.

Именно эта массовость имеет для нашего исследования особое значение.

Изменился сам статус политического убийства

Главная проблема заключалась не только в количестве жертв.

Происходило изменение самого представления о допустимых средствах политической борьбы.

Убийство человека могло теперь рассматриваться не просто как преступление, совершенное по политическим мотивам, а как **политический поступок**, который следует оценивать прежде всего по его исторической цели.

Это принципиальный сдвиг.

Если министр воспринимается не как человек, которого нельзя убивать без суда, а как воплощение политической системы, то его физическое уничтожение получает совершенно другой моральный смысл.

Убийство превращается в «акт борьбы».

Террорист — в «борца».

Смерть — в политическое сообщение.

Именно поэтому вокруг некоторых террористов создавался героический ореол. Современное исследование культурного образа русского революционного террориста специально рассматривает формирование мифа о «добродетельном убийце», в котором политическое насилие могло соединяться с представлениями о жертвенности, нравственной чистоте и служении народу.

В результате возникала чрезвычайно опасная моральная конструкция:

человек может совершить убийство и одновременно сохранить статус нравственного героя, если считается, что он убивает во имя достаточно высокой исторической цели.

И вот здесь происходит нечто гораздо более важное, чем деятельность отдельных террористических организаций.

Начинает разрушаться **безусловность запрета на политическое убийство**.

Террор менял и само государство

Разумеется, этот процесс нельзя рассматривать изолированно от действий власти.

Государство отвечало репрессиями, арестами, военно-полевыми судами, смертными казнями и ограничениями политической деятельности. После революции 1905 года правительство Николая II действительно оказалось перед масштабным кризисом и стало искать значительно более жесткие способы подавления революционного насилия.

Однако здесь и возникает механизм, чрезвычайно важный для дальнейшей истории России.

Террорист утверждает:

государство является насильственным, следовательно, насилие против него допустимо.

Государство отвечает:

против нас ведется террористическая война, следовательно, чрезвычайные репрессивные меры необходимы.

После этого революционер указывает уже на эти репрессии как на дополнительное доказательство преступности государства.

Возникает самовоспроизводящаяся система:

террор → репрессии → радикализация → новый террор → новые репрессии.

Каждая сторона получает подтверждение собственной картины мира из действий противника.

Революционер все более убеждается, что мирная борьба невозможна.

Государство все более убеждается, что оппозиция потенциально связана с революцией.

А пространство для политического центра становится все уже.

Здесь проходит одна из дорог к 1917 году

Именно поэтому революционный террор следует рассматривать не как побочный эпизод дореволюционной истории, а как один из факторов, изменивших саму российскую политическую культуру.

Октябрь 1917 года не был моментом, когда политическое насилие впервые появилось в России.

К этому времени существовала уже многодесятилетняя традиция, в которой часть революционного движения рассматривала насильственное устранение политического противника как допустимый способ изменения истории.

Это не означает, что большевики просто продолжили эсеровский террор. Их отношение к индивидуальному террору было иным, а Ленин неоднократно критиковал ставку на отдельные политические убийства как замену массовой революционной борьбе.

Но для нашего исследования важнее другое.

К 1917 году в российском обществе уже существовала культурная и политическая среда, в которой **насилие ради исторической цели перестало быть совершенно немыслимым**.

И потому главный вывод этого раздела следует сформулировать достаточно жестко:

Еще задолго до большевиков часть российского революционного движения превратила политическое убийство из безусловного преступления в признанный метод исторической борьбы.

Именно здесь начинается одна из важнейших линий будущей Гражданской войны.

Красный террор не возник из ничего.

Белый террор не возник из ничего.

Массовое политическое насилие 1918–1921 годов имело непосредственные причины в распаде государства и самой логике Гражданской войны, но нравственная граница, отделявшая политическую борьбу от физического уничтожения противника, начала размываться значительно раньше.

И тогда перед нами возникает следующий вопрос.

Террористические организации открыто признавали насилие своим методом. Но **как относилась к этому та часть общества, которая сама не убивала, выступала за право и свободу, но одновременно считала самодержавие главным источником происходящего насилия?**

Это выводит нас к значительно более сложной проблеме — **моральной позиции русской либеральной общественности по отношению к революционному террору**.

5. Либеральная общественность и моральная легитимация революционного насилия

Революционный террор не существовал в общественном вакууме. Террористические организации могли совершать убийства самостоятельно, но политическое значение этих убийств зависело также от того, **как их воспринимала образованная часть общества**.

И здесь российская ситуация оказывается особенно сложной.

Было бы исторически неверно утверждать, что русские либералы как политическое движение поддерживали террор. Кадеты не были террористической партией. Русский либерализм создавал собственную традицию правового государства, гражданских свобод, человеческого достоинства и ограничения произвола власти. Среди либеральных мыслителей существовали принципиальные противники политического насилия. Современные исследования подчеркивают, что внутри кадетской среды отношение к террору было неоднородным и постоянно менялось под воздействием революции 1905 года.

Но именно эта неоднозначность и представляет для нас интерес.

Проблема заключалась не столько в одобрении убийства, сколько в **нежелании части либеральной общественности поставить революционное насилие и государственное насилие под один и тот же нравственный запрет**.

Возникала характерная формула:

Террор, конечно, ужасен. Но его настоящей причиной является самодержавие.

На первый взгляд это вполне понятная причинная аргументация. Политические репрессии, отсутствие полноценного правового государства, ограничения свобод действительно способствовали радикализации оппозиции. Нельзя объяснить российский террор, полностью игнорируя характер существовавшего режима.

Но причинное объяснение легко превращалось в моральное оправдание.

Если революционер убивает чиновника, ответственность начинает переноситься с человека, совершившего убийство, на государственный строй, который якобы вынудил его к этому.

И тогда возникает нравственная асимметрия.

Когда государство применяет насилие, поступок оценивается непосредственно:

государство арестовало, расстреляло, казнило — следовательно, государство отвечает за насилие.

Когда насилие применяет революционер, между поступком и ответственностью появляется дополнительное звено:

он убил — но его к этому привело самодержавие.

В результате государство оказывается морально ответственным не только за собственное насилие, но в некоторой степени и за насилие своих противников.

Дилемма кадетов

Особенно хорошо эта проблема видна на примере Конституционно-демократической партии.

Анна Гейфман, посвятившая отдельную главу отношению кадетов к террору, характеризует их позицию как значительно более двусмысленную, чем позицию политических сил справа и слева от них.

Однако здесь необходима важная оговорка. Более новое исследование Ванессы Рэмптон показывает, что свести позицию кадетов к простой формуле «они оправдывали террористов» невозможно. В партии существовал широкий спектр мнений, а сама проблема ставила либералов перед реальной моральной дилеммой: как одновременно защищать человеческое достоинство, выступать против государственного произвола, не отказываться от оппозиции самодержавию — и при этом не стать политическими союзниками революционного насилия.

Именно поэтому эта ситуация так важна.

Либералы находились между двумя силами.

Справа находилось государство, которое они считали неправовым и препятствующим политической модернизации.

Слева находились революционеры, цели освобождения которых могли казаться им значительно более близкими, чем существующий режим, но методы которых противоречили самому либеральному принципу права.

Чтобы занять действительно самостоятельную позицию, необходимо было сказать одновременно две вещи:

Самодержавный произвол недопустим.

и

Политическое убийство недопустимо независимо от того, против какого режима оно направлено.

Именно соединить эти два утверждения оказалось труднее всего.

Общий враг создавал ложное нравственное родство

Причина понятна.

Либералы и революционеры были глубоко различными политическими силами, но у них существовал общий противник — самодержавие.

На рубеже XIX–XX веков предпринимались реальные попытки создать широкий фронт различных оппозиционных сил против существующего режима. Исследования истории Союза освобождения показывают, насколько важной была идея объединения всех сил, выступавших за политическое изменение, вокруг общего требования конституции и гражданских прав.

Но подобный союз содержал внутреннее противоречие.

Для либерала конечной целью должны были быть **право и политическая свобода**.

Для революционера право существующего государства само могло рассматриваться как инструмент угнетения, а революционное насилие — как средство уничтожения этого порядка.

Пока существовал общий противник, разница между этими позициями могла отодвигаться на второй план.

В результате возникал своеобразный принцип:

сначала победим самодержавие, потом разберемся в наших разногласиях.

Но именно здесь политическая тактика начинала воздействовать на нравственную оценку.

Чтобы не разрушать общий оппозиционный фронт, либералу было психологически и политически труднее безоговорочно осуждать революционера, который боролся с тем же режимом, пусть и совершенно иными средствами.

Террорист мог становиться нравственным героем

Еще важнее была позиция не партийных руководителей, а более широкой образованной среды.

В российской культуре конца XIX — начала XX века постепенно сформировался особый образ революционера как человека, готового пожертвовать собственной жизнью ради освобождения других.

Так появлялся парадоксальный персонаж — **нравственно возвышенный убийца**.

Исследования культурного образа Веры Засулич, Веры Фигнер, Марии Спиридоновой и других революционеров показывают, насколько тесно в общественном сознании могли соединяться террористический поступок, личная жертвенность и представление о нравственном героизме.

В такой системе координат решающим становилось уже не только то, **что человек сделал**, но и то, **ради чего он это сделал**.

Если чиновник применяет насилие, он служит государству и потому легко воспринимается как представитель репрессивной машины.

Если революционер убивает чиновника и при этом сознательно идет на казнь или каторгу, его собственная жертвенность может начать восприниматься как свидетельство нравственной чистоты намерения.

Тем самым происходила чрезвычайно важная подмена.

Моральная оценка поступка постепенно переносилась с самого действия на его **историческую цель**.

Человек убивает — но ради свободы.

Следовательно, убийство начинает восприниматься иначе, чем обычное преступление.

И именно здесь возникает та нравственная логика, которая впоследствии станет характерна уже для значительно более широкого революционного насилия:

высота цели способна изменить моральный статус средства.

Государство оказывалось виновным дважды

В результате складывалась почти безвыходная моральная конструкция.

Если государство не подавляет революционное насилие, оно демонстрирует слабость.

Если подавляет его жестко, репрессии становятся подтверждением революционного обвинения в деспотизме.

Если террорист совершает убийство, часть общественного мнения видит в этом следствие репрессий.

Если государство после этого усиливает репрессии, оно получает ответственность уже за новый виток радикализации.

Возникает замкнутый круг:

самодержавие → революционный протест → террор → государственные репрессии → моральное возмущение общества → новая радикализация.

Причем ответственность постепенно распределяется несимметрично.

Государство рассматривается как исходная причина всей цепочки.

Революционер — как человек, действующий внутри ситуации, созданной государством.

Именно в этом смысле можно говорить о **частичной моральной легитимации революционного насилия**, даже если само насилие формально продолжало осуждаться.

Но именно здесь либеральный центр терял самостоятельность

Для устойчивого либерального движения принципиально важно сохранить независимую нравственную позицию между государственным произволом и революционным произволом.

Либерал должен быть способен сказать государству:

Вы не имеете права нарушать закон ради сохранения власти.

Но он должен быть способен сказать и революционеру:

Вы не имеете права убивать ради свободы.

Иначе право превращается только в оружие против одной стороны конфликта.

Если нарушение права государством считается доказательством его нелегитимности, а нарушение права революционером объясняется благородством его цели и тяжестью обстоятельств, либеральный принцип перестает быть универсальным.

Это особенно опасно потому, что либерализм по своей природе должен был стать **третьей силой** между самодержавием и революцией.

Он мог предложить России именно тот выход, которого не предлагали ни политическая полиция, ни террористическая организация:

перевод конфликта из сферы насилия в сферу права.

Но для этого необходимо было поставить сам принцип права выше политической солидарности с противниками режима.

Именно это оказалось чрезвычайно трудно.

«Вехи» как попытка внутреннего пересмотра

Важно, однако, не представлять русскую интеллигенцию как однородную среду, которая бездумно романтизировала революцию.

После поражения революции 1905–1907 годов внутри самой образованной среды начался глубокий пересмотр революционной традиции.

Одним из наиболее известных выражений этой рефлексии стал сборник **«Вехи»**, вышедший в 1909 году.

Бердяев, Булгаков, Франк, Струве и другие авторы подвергли критике не просто отдельные политические ошибки революционного движения, но некоторые фундаментальные особенности мировоззрения русской интеллигенции: убежденность в собственной нравственной правоте, подчинение личности отвлеченным общественным целям, политический максимализм и недостаток чувства личной ответственности. Современные исследования рассматривают «Вехи» именно как принципиальную реакцию на опыт революции 1905 года и как попытку осмыслить внутренние причины ее катастрофического развития.

Это очень существенно для нашей темы.

Критика революционного сознания возникла **внутри самой русской интеллектуальной культуры**.

Часть прежней либеральной и социалистической интеллигенции начала задаваться вопросом, который прежде слишком легко отодвигался:

Не несет ли сама образованная общественность моральной ответственности за ту политическую культуру, которую она помогала создавать?

То есть проблема была осознана еще до 1917 года.

Но политически этот пересмотр произошел слишком поздно и охватил слишком ограниченную часть общества, чтобы изменить общую динамику.

Кто ответственен за насилие?

И здесь мы сталкиваемся с вопросом, который будет сопровождать всю нашу статью.

Если человека десятилетиями лишают политических прав, подвергают репрессиям и не позволяют мирно изменить существующий порядок — уменьшает ли это его ответственность за переход к насилию?

Безусловно, обстоятельства помогают объяснить поступок.

Но объяснение еще не означает оправдания.

Иначе возникает опасная моральная формула:

чем несправедливее государство, тем меньшую ответственность несет человек, убивающий его представителей.

Доведенная до конца, эта логика уничтожает саму возможность универсальной нравственной нормы.

Любая сторона сможет объявить собственное насилие вынужденным ответом на предшествующее насилие противника.

Именно это впоследствии станет одной из трагических особенностей Гражданской войны.

Каждая сторона будет воспринимать собственные действия как **ответ**.

Красные — на контрреволюцию.

Белые — на большевистский переворот.

Крестьяне — на действия обеих армий.

Национальные движения — на центральную власть.

А ответственность будет бесконечно передаваться назад по причинной цепочке.

Можно ли сохранить государство, морально отделившись от него?

Отсюда возникает особенно трудный вопрос применительно к российскому либерализму:

Может ли политический центр сохранить государство, если он осуждает существующую власть значительно последовательнее, чем тех, кто физически эту власть уничтожает?

Это не означает, что либералы должны были защищать самодержавие.

И не означает, что ответственность государства за собственные репрессии следует уменьшить.

Проблема в другом.

Для мирного преобразования необходимо было одновременно добиться **двойной делегитимации насилия**:

ни государство не имеет права спасать себя произволом;

ни революционер не получает права на убийство от благородства своей политической цели.

Только на такой основе мог возникнуть настоящий правовой центр.

Но Россия начала XX века так и не выработала этого консенсуса.

Самодержавие не признало окончательно верховенство права над собственной властью.

Революционеры не признали верховенство права над революционной целью.

А либеральная общественность оказалась между ними, слишком часто объясняя насилие одной стороны через преступления другой.

И именно поэтому пространство мирного политического компромисса продолжало сокращаться.

В предыдущем разделе мы увидели, как революционный террор разрушал нравственную границу между политикой и убийством.

Теперь необходимо сделать следующий шаг.

Как должно было вести себя государство, столкнувшееся одновременно с массовым революционным движением, террором и требованием политических реформ?

И здесь поздняя Российская империя оказалась в почти неразрешимой ловушке: **репрессии усиливали революцию, но уступки далеко не всегда ее останавливали.**

6. Политическая ловушка империи

К началу XX века Российская империя оказалась в положении, которое трудно описать простой формулой: власть должна была либо «проводить реформы», либо «подавлять революцию». В действительности ей приходилось делать и то и другое одновременно.

И именно это постепенно превращалось в политическую ловушку.

С одной стороны, сохранение прежней самодержавной системы становилось всё менее возможным. Общество требовало политического представительства, гражданских свобод, решения аграрного и рабочего вопросов. С другой стороны, государство сталкивалось уже не только с мирной оппозицией, но с вооружёнными восстаниями, террористическими

организациями, убийствами чиновников и разрушением административной управляемости.

Поэтому практически любое решение власти имело двойственный результат.

Репрессии могли восстанавливать порядок, но одновременно увеличивали отчуждение общества от государства.

Политические уступки расширяли пространство легальной деятельности умеренной оппозиции, но теми же свободами могли пользоваться и силы, которые вообще не собирались примиряться с существующим строем.

Именно это особенно ясно проявилось в революции 1905 года.

Октябрьский манифест: уступка, которая расколола оппозицию, но не закончила революцию

После всеобщей забастовки Николай II 17 октября 1905 года подписал Манифест, обещавший гражданские свободы и законодательное представительство.

Это был огромный политический перелом.

Часть общества восприняла Манифест как начало нового конституционного порядка. Именно из этой позиции впоследствии выросли октябристы: для них революция должна была закончиться, а дальнейшие преобразования — происходить уже в рамках легального государства.

Но радикальная часть оппозиции восприняла ситуацию совершенно иначе.

Как отмечают исследования революции 1905 года, Октябрьский манифест действительно расколол оппозицию: одни приняли его как начало нового этапа, другие решили продолжать борьбу до полного свержения монархии. Более того, сельские и рабочие беспорядки после октября не прекратились, а в декабре произошло вооружённое восстание в Москве.

Именно здесь обнаружилась одна из главных проблем политического компромисса.

Для умеренного человека уступка означает:

власть услышала требования общества — теперь надо закреплять достигнутое и продолжать реформы.

Для революционера та же самая уступка может означать:

власть отступила под давлением — значит, давление необходимо усилить.

Один и тот же политический акт получал противоположный смысл.

Свобода открывала пространство и для тех, кто свободу не считал конечной целью

После 1905 года легальная политическая жизнь действительно резко расширилась.

Возникли партии, газеты, публичные собрания, выборы в Государственную думу. Политические силы, ещё недавно существовавшие преимущественно подпольно, получили совершенно новые возможности для пропаганды и организации.

Это относится и к революционным партиям.

Например, в период Первой и Второй Дум эсеры смогли значительно расширить открытую агитацию. Исследование их деятельности показывает, что в период Первой Думы у них существовало около дюжины издательств, выпускавших более двадцати ежедневных и еженедельных газет; в Петербурге и Москве было выпущено около двухсот названий книг и брошюр общим тиражом приблизительно четыре миллиона экземпляров.

Разумеется, из этого нельзя делать вывод, что сами политические свободы «породили террор».

Это было бы очевидным упрощением.

Но возникала объективная проблема: **либерализация политического пространства усиливала не только тех, кто был готов действовать внутри нового конституционного порядка, но и тех, для кого этот порядок являлся лишь промежуточным этапом революционной борьбы.**

То есть государство должно было предоставить свободу политической деятельности людям, часть которых открыто ставила своей целью уничтожение самого этого государства.

Для стабильной демократии эта проблема решается признанием всеми основными участниками общих правил политической игры.

В России такого консенсуса еще не существовало.

Но и репрессии не решали проблему окончательно

После вооружённых восстаний и массового революционного насилия государство перешло к значительно более жестким мерам.

При Столыпине репрессии сочетались с реформами. Правительство одновременно пыталось преобразовывать аграрные отношения и подавлять вооруженное революционное движение. Исследователи именно так и характеризуют постреволюционную политику: конституционные уступки соседствовали с новой волной репрессий и реформой сельского хозяйства.

В непосредственном смысле эта политика оказалась эффективной.

Государство постепенно восстановило контроль. Масштаб крестьянского насилия заметно снижался: исследование столыпинской реформы приводит 3 228 крупных эпизодов крестьянского насилия в 1905 году, 2 600 — в 1906-м, 1 337 — в 1907-м и лишь 128 — в 1913-м. Одновременно власть широко применяла аресты, ссылки, военно-полевую юстицию и смертные приговоры.

Это особенно важно.

Было бы неверно утверждать, что Российская империя физически не могла подавить революционное движение.

Она его подавила.

К началу 1910-х годов Россия была значительно стабильнее, чем в 1905–1907 годах.

Но цена восстановления порядка оказалась политически высокой.

Для революционеров репрессии становились доказательством того, что легальная борьба с самодержавием невозможна.

Для части либеральной общественности они подтверждали, что конституционные уступки 1905 года были недостаточны и что власть в критический момент по-прежнему возвращается к административному принуждению.

И таким образом действия, восстанавливавшие непосредственную управляемость государства, одновременно могли уменьшать его **долговременную политическую легитимность**.

Третьего июня 1907 года: порядок ценой сужения компромисса

Особенно хорошо это видно на судьбе Государственной думы.

Первые две Думы вступили в острый конфликт с правительством. 3 июня 1907 года Вторая Дума была распущена, а избирательная система изменена таким образом, что усилилось представительство землевладельцев и более состоятельных слоев. В историографии это событие часто рассматривается как окончание революционного периода 1905–1907 годов.

С точки зрения государственной стабильности решение было понятно.

Правительство получило значительно более управляемую Думу и возможность проводить реформы без постоянного риска нового институционального кризиса.

Но именно здесь снова проявилась та же ловушка.

Чем управляемее становился парламент, тем меньше он мог восприниматься радикальной оппозицией как реальный инструмент изменения государства.

То есть государство повышало собственную устойчивость в краткосрочной перспективе, одновременно ослабляя привлекательность легальной политики для тех, кто уже сомневался в возможности добиться изменений парламентским путем.

Возникал порочный круг

Постепенно складывалась система, из которой чрезвычайно трудно было выйти.

Революционный террор заставлял государство усиливать репрессивный аппарат.

Репрессии укрепляли убеждение революционеров, что мирная борьба невозможна.

Общественное возмущение репрессиями усиливало давление на власть.

Власть шла на уступки.

Умеренные воспринимали их как возможность перейти к мирной политике.

Радикалы могли воспринимать их как подтверждение эффективности давления.

После нового насилия власть снова переходила к репрессиям.

Получался механизм:

террор → репрессии → радикализация → уступки или новые репрессии → дальнейшая конфронтация.

Причём каждая сторона видела в действиях противника подтверждение собственной правоты.

Революционер говорил:

Посмотрите, власть отвечает на требования общества репрессиями. Значит, мирный путь невозможен.

Представитель государства отвечал:

Посмотрите, мы дали политические свободы, а террор и вооруженные восстания продолжились. Значит, уступки воспринимаются как слабость.

Оба утверждения содержали часть истины.

И именно поэтому ситуация становилась настолько трудноразрешимой.

Исчезновение политического центра

Но наиболее разрушительным последствием этого механизма было постепенное ослабление политического центра.

В устойчивой парламентской системе именно центр превращает конфликт в переговоры.

Он говорит государству:

вы должны ограничить собственную власть законом.

И одновременно говорит революционеру:

вы должны отказаться от насилия и действовать внутри закона.

Но для этого обе стороны должны признать саму возможность компромисса.

В поздней Российской империи такая возможность становилась всё менее очевидной.

Для крайних правых всякая новая уступка могла выглядеть как предательство монархического принципа.

Для революционных левых компромисс мог выглядеть как предательство революции.

А либералы и умеренные оказывались между двумя силами, каждая из которых обладала более простой и эмоционально убедительной картиной происходящего.

Правые говорили:

нужно восстановить порядок.

Революционеры:

нужно уничтожить самодержавие.

А политический центр вынужден был предлагать значительно более сложную формулу:

необходимо одновременно сохранить государство и изменить его настолько глубоко, чтобы оно перестало вызывать революцию.

Для этого требовались время, доверие и способность к компромиссу.

Именно этих трех ресурсов России всё больше не хватало.

Была ли ловушка действительно безвыходной?

Нет оснований утверждать, что уже после 1905 года революция стала абсолютно неизбежной.

Напротив, к 1913 году уровень политического насилия заметно снизился, экономика росла, работала Государственная дума, продолжалась аграрная реформа. Сам факт стабилизации показывает, что империя еще обладала способностью к восстановлению.

Поэтому нельзя проводить прямую линию:

1905 → неизбежный 1917 год.

История могла развиваться иначе.

Но политическая система оставалась внутренне нестабильной.

Она не разрешила основные противоречия, а в значительной степени **заморозила их**.

Монархия не превратилась в полноценную парламентскую систему.

Революционные партии не стали обычными системными партиями.

Аграрный вопрос оставался острым.

Отношения власти и образованного общества оставались исполненными взаимного недоверия.

То есть государство сумело прекратить революцию, но не сумело окончательно устранить причины, позволившие ей возникнуть.

И именно поэтому следующий внешний удар оказался настолько опасным.

Россия получила время — но слишком мало

После 1907 года у империи возникло несколько относительно спокойных лет.

Возможно, при двадцати или тридцати годах постепенной политической эволюции революционные партии действительно могли бы превратиться в парламентские, крестьяне — в более устойчивый слой собственников, Государственная дума — в реальный центр представительной власти, а монархия — постепенно отойти от непосредственного управления.

Но Россия этих десятилетий не получила.

В 1914 году началась мировая война.

И здесь возникла новая, уже значительно более опасная форма **сжатия исторического времени**.

Противоречия, которые еще можно было разрешать на протяжении поколений, пришлось выдерживать одновременно: политический кризис, аграрный вопрос, национальные движения, индустриализация, массовая мобилизация, инфляция, продовольственные трудности и миллионы вооруженных людей.

То, что в мирное время могло оставаться хронической проблемой, в условиях мировой войны стало угрозой самому существованию государства.

Первая мировая война не создала кризис Российской империи. Она лишила империю времени, которое еще могло позволить этот кризис разрешить.

Именно поэтому следующим этапом нашего анализа должна стать война — момент, когда политическая ловушка поздней империи начала превращаться уже не в кризис режима, а в **кризис самого государства**.

7. Первая мировая война: момент превращения кризиса режима в кризис государства

К 1914 году Российская империя пережила революцию 1905–1907 годов, подавила основную волну революционного терроризма и восстановила относительную политическую стабильность. Экономика вновь росла, продолжалась аграрная реформа, работала Государственная дума, расширялось образование.

Это обстоятельство принципиально важно.

Оно означает, что между революцией 1905 года и революцией 1917 года нельзя провести прямую линию исторической неизбежности. Империя оказалась способна пережить первый революционный кризис.

Следовательно, ни революционный террор, ни политическая отсталость, ни аграрный вопрос сами по себе еще не делали падение государства неизбежным.

Но для дальнейшей эволюции России требовалось то, чего история ей уже не предоставила, — **время**.

В августе 1914 года началась Первая мировая война.

Именно она превратила хронический кризис политического режима в кризис самого государства.

Масштаб мобилизации изменил все общество

Россия вступила в войну как одна из крупнейших держав мира и осуществила мобилизацию совершенно невиданного прежде масштаба.

Уже к концу 1914 года в вооруженных силах находилось более 6,5 миллиона человек, причем около трех четвертей первоначально мобилизованных составляли крестьяне. За всю войну Россия призвала примерно десятую часть населения империи.

Это означало не просто создание огромной армии.

Миллионы мужчин были вырваны из деревни, фабрики, семьи и привычной социальной среды. Государство должно было одновременно вооружить, одеть, накормить, перевезти и снабжать эту массу людей.

Для сравнительно слабой транспортной и административной инфраструктуры империи это было колоссальным испытанием.

Но произошло и другое.

Государство фактически **вооружило миллионы крестьян**.

Люди, которые еще несколько лет назад участвовали в аграрных конфликтах как сельские жители, теперь получили военную подготовку, оружие и опыт массового организованного насилия.

Сам по себе этот факт не делает революцию неизбежной. Но он совершенно меняет характер любого будущего социального кризиса.

Крестьянское недовольство в стране с относительно устойчивой армией — одна проблема.

Крестьянское недовольство в стране, где миллионы крестьян сами находятся в армии и постепенно утрачивают доверие к власти, — уже совсем другая.

Война сначала объединила Россию

При этом важно не читать 1914 год через знание 1917-го.

Начало войны вовсе не сопровождалось немедленным революционным взрывом.

Напротив, летом 1914 года наблюдался мощный патриотический подъем. Источники фиксируют монархические и патриотические демонстрации, добровольческое движение и крайне высокий уровень явки по мобилизации — около 96 процентов подлежавших призыву явились в мобилизационные пункты.

На время война даже приглушила прежнюю политическую конфронтацию.

Это еще одно свидетельство того, что революция не являлась механически запрограммированной.

Но первоначальное единство основывалось на ожидании относительно короткой и победоносной войны.

Война оказалась совершенно другой.

Несколько лет непрерывных потерь изменили отношение к государству

Кампания 1915 года стала тяжелым ударом. Русская армия оставила Польшу и значительные западные территории. Огромные потери, ранения, болезни и постоянное пополнение фронта новыми мобилизованными постепенно изменяли настроение армии и тыла.

Спустя два с половиной года войны значительная часть крестьян-солдат уже воспринимала происходящее совершенно иначе, чем летом 1914 года. Исследования поздней империи отмечают рост ощущения бессмысленности жертв и усталости от военной дисциплины и тяжелых условий службы.

Это имело принципиальное политическое значение.

Армия была не просто военной организацией.

Она была последним материальным основанием государственной власти.

Пока солдат готов выполнить приказ, государство сохраняет способность подавить восстание.

Если солдат перестает считать приказ легитимным, кризис власти приобретает совершенно иной характер.

Именно поэтому война постепенно разрушала тот самый механизм, который позволил империи победить революцию 1905 года.

Экономика выдерживала войну лучше, чем иногда предполагают

Здесь также важно избежать упрощения.

Российская экономика не рухнула сразу после начала войны. Современные исследования даже показывают, что в годы Первой мировой она функционировала несколько лучше, чем это представлялось в ранней историографии. Основная экономическая катастрофа пришлась уже на революцию и Гражданскую войну.

Но проблема состояла не только в общем объеме производства.

Государство должно было перенаправить огромную часть ресурсов на войну. За годы участия в конфликте Россия тратила в среднем около четверти национального дохода на военные нужды.

Особенно уязвимым оказался транспорт.

Железные дороги должны были одновременно перевозить армии, оружие, боеприпасы, топливо, продовольствие и гражданские грузы. К 1916 году военные перевозки все чаще нарушали нормальное движение товаров; исследователи отмечают, что необходимые грузы иногда просто невозможно было своевременно доставить.

Отсюда возникал парадокс.

В стране мог существовать хлеб.

Но хлеб не обязательно оказывался там, где его ждали.

Продовольственный кризис был вызван не просто абсолютной нехваткой продуктов, а сочетанием транспортных, административных, ценовых и хозяйственных проблем. Исследование снабжения России в 1917 году прямо подчеркивает, что страна не испытывала абсолютной нехватки продовольствия, однако административные и транспортные сбои создавали реальные дефициты и угрозу голода в отдельных районах.

Для населения различие между «хлеба в стране достаточно» и «хлеба нет в магазине» имеет, однако, весьма ограниченное политическое значение.

Инфляция разрушала привычные отношения обмена

Военная экономика сопровождалась быстрым ростом цен.

Во второй половине 1916 года розничные цены были примерно в два с половиной раза выше уровня 1913 года, а в первой половине 1917 года — уже почти в четыре раза выше.

Это означало постоянное падение реальной покупательной способности населения.

Но еще важнее было то, что инфляция нарушала отношения между городом и деревней.

Крестьянин должен был продавать хлеб за деньги, на которые становилось все труднее приобрести необходимые промышленные товары.

Возникал естественный стимул придерживать зерно.

Город видел в этом нежелание деревни кормить страну.

Деревня видела в государственных заготовках попытку отнять продукты по невыгодной цене.

Таким образом, война постепенно превращала экономическую проблему в социальный конфликт.

Рабочий против государства.

Потребитель против производителя.

Город против деревни.

Солдат против военного начальства.

Общество начинало распадаться уже не только политически, но и по линиям повседневных материальных интересов.

Война разрушала доверие быстрее, чем государство могло его восстанавливать

Самое опасное для империи происходило, однако, не в производственных показателях.

Происходило разрушение доверия.

Каждый новый кризис получал политическое объяснение.

Не хватает хлеба — виновато правительство.

Военные поражения — виноваты министры и командование.

Растут цены — государство не способно управлять хозяйством.

Поезда не приходят вовремя — власть разлагается.

Огромные потери — война ведется бессмысленно.

В условиях уже существовавшего конфликта между властью и образованным обществом каждая хозяйственная и военная проблема становилась новым аргументом против политической системы.

С 1915 года усилилась и думская оппозиция самодержавию. Военные неудачи и неспособность власти создать устойчивое сотрудничество с общественными организациями способствовали новому кризису доверия между правительством и политической элитой.

То есть война постепенно уничтожала именно тот ресурс, без которого государство не может пережить тяжелый внешний конфликт:

убеждение общества, что существующая власть, несмотря на ошибки, остается необходимым центром общего действия.

Самое опасное изменение происходило в армии

К 1917 году усталость армии превращалась в кризис дисциплины.

Особенно быстро этот процесс пошел уже после Февральской революции, однако его предпосылки создавались войной: многолетними потерями, ухудшением снабжения, разочарованием в целях войны и растущим отчуждением солдат от офицерского корпуса.

К лету 1917 года дезертирство приобрело настолько широкий масштаб, что современное исследование характеризует его как эпидемическое; армия уже фактически теряла

способность удерживать фронт, а огромные массы вооруженных людей возвращались в города и деревни.

И вот здесь произошел принципиальный перелом.

Государственный кризис становится практически необратимым, когда государство начинает терять **монополию на организованное вооруженное насилие**.

До этого общество может быть недовольно правительством.

Рабочие могут бастовать.

Крестьяне могут протестовать.

Либералы могут требовать изменения государственного строя.

Террористы могут совершать покушения.

Но пока существует управляемая армия, государство сохраняет материальное ядро власти.

Война постепенно разрушила и это ядро.

Война сделала все кризисы одновременными

Именно здесь становится виден главный исторический эффект Первой мировой войны.

Каждая из проблем России существовала и раньше.

Аграрный вопрос существовал до 1914 года.

Рабочий вопрос существовал.

Конфликт монархии и Думы существовал.

Национальные движения существовали.

Революционные партии существовали.

Недоверие интеллигенции к государству существовало.

Недостаток транспортной инфраструктуры существовал.

Но в мирное время эти проблемы можно было решать **последовательно**.

Одно поколение проводит аграрную реформу.

Следующее расширяет образование.

Постепенно меняется рабочее законодательство.

Парламент приобретает новые полномочия.

Революционные партии привыкают к легальной борьбе.

Монархия постепенно отходит от непосредственного управления.

Национальные движения получают новые формы автономии.

Каждый такой процесс требует десятилетий.

Первая мировая война заставила решать их **одновременно**.

Государство должно было одновременно:

воевать с крупнейшими военными державами Европы;

мобилизовать миллионы людей;

проводить индустриальную мобилизацию;

снабжать города;

удерживать деревню;

контролировать инфляцию;

сохранять транспорт;

удерживать армию;

реагировать на оппозицию;

решать национальный вопрос;

и при этом продолжать собственную политическую модернизацию.

Задача становилась почти невозможной.

Война сжала историческое время

И здесь появляется понятие, которое будет иметь принципиальное значение для дальнейшего анализа большевизма.

Сжатие исторического времени.

До войны Россия обладала определенным запасом времени.

Даже если политическая система была несовершенной, можно было предполагать, что в течение двадцати или тридцати лет аграрная реформа изменит деревню, образование создаст новое массовое общество, Дума приобретет больший политический вес, а революционная политика постепенно уступит место парламентской.

Война уничтожила эту возможность постепенности.

Процессы, которые могли развиваться десятилетиями, были сведены в несколько лет.

Именно поэтому войну можно рассматривать как своеобразный механизм исторического ускорения.

Война не создала противоречия России — она сжала десятилетия их возможного разрешения в несколько лет.

Это чрезвычайно важно для понимания последующих событий.

История сама впервые заставила Россию двигаться со скоростью, к которой ее институты и общество не были готовы.

И империя этой скорости не выдержала.

Парадокс дальнейшей истории

Но здесь возникает почти трагический парадокс.

Первая мировая война **насильственно ускорила историю России** и разрушила старый порядок.

А затем на политическую сцену выйдет движение, которое сделает само ускорение истории сознательной программой.

Большевики увидят в длительности исторического развития не только объективное ограничение, но и препятствие, которое можно преодолеть революционной волей.

То, что война сделала с Россией стихийно, революция позднее попытается делать целенаправленно:

сжимать десятилетия в годы.

Переход от аграрного общества к индустриальному.

Преобразование собственности.

Изменение социальной структуры.

Формирование нового человека.

Создание нового типа отношений между народами.

Все эти процессы будут впоследствии поставлены в чрезвычайно жесткие временные рамки.

И потому уже здесь, в опыте Первой мировой войны, появляется одна из центральных тем всей нашей статьи:

социальная катастрофа возникает не обязательно потому, что направление исторического движения ошибочно. Иногда разрушительным оказывается сам темп, с которым общество вынуждено двигаться.

Но прежде чем большевики сделают историческое ускорение собственной программой, произойдет событие, которое окончательно уничтожит прежний механизм власти.

В феврале 1917 года монархия рухнет.

Причем произойдет это **без большевиков**.

И именно Февраль покажет, насколько далеко кризис режима уже превратился в кризис самого государства.

8. Февраль: государство рушится еще до большевиков

В традиционном рассказе о русской революции именно Октябрь часто оказывается моментом, после которого начинается разрушение государства. Большевики захватывают власть, разгоняют прежние институты, начинается Гражданская война — и страна погружается в хаос.

Однако такая последовательность плохо соответствует реальной хронологии 1917 года.

К моменту большевистского восстания старое государство уже было разрушено. Монархии не существовало более семи месяцев. Прежняя система администрации была демонтирована, армия стремительно теряла дисциплину, в деревне нарастало самовольное перераспределение земли, на окраинах возникали собственные центры власти, а центральное правительство всё меньше обладало способностью заставить страну выполнять свои решения.

Большевики не создали эту ситуацию.

Они пришли к власти **внутри нее**.

Февраль не был большевистской революцией

Это принципиальный факт.

Февральская революция не была организована большевистским руководством. Ленин находился в Швейцарии, Троцкий — за пределами России, многие другие известные революционеры находились в эмиграции, ссылке или только начинали возвращаться в политическую жизнь.

Само начало революции оказалось в значительной степени стихийным.

23 февраля по старому стилю в Петрограде на улицы вышли тысячи женщин, недовольных перебоями с хлебом. Уже на следующий день бастовали около 200 тысяч рабочих. Через несколько дней к демонстрантам начали переходить воинские части столичного гарнизона. Именно переход солдат на сторону восставших стал одним из решающих моментов революции. Одновременно депутаты Государственной думы отказались просто разойтись по приказу императора и начали формировать новый центр власти.

Февраль нельзя поэтому объяснить действиями одной партии.

Революция произошла вследствие соединения нескольких процессов: продовольственных трудностей, рабочих протестов, военной усталости, кризиса доверия к власти и — в решающий момент — отказа значительной части вооруженных сил защищать старый порядок.

Когда высшее военное руководство также отказалось поддержать Николая II в его попытке сохранить власть, судьба монархии была практически решена. Исследования роли армии в событиях февраля подчеркивают, что генералы опасались дальнейшего распространения революции на фронт и фактически отказались стать последней опорой императора.

Монархия рухнула не потому, что большевики оказались сильнее государства.

Она рухнула **раньше, чем большевики стали силой, способной претендовать на государственную власть**.

Исчезновение старого источника легитимности

Падение монархии означало значительно больше, чем отречение одного человека.

Российская империя была построена вокруг монархического принципа.

Чиновник служил государю.

Офицер присягал государю.

Губернатор представлял власть государя.

Вся вертикаль государства в конечном счете восходила к монарху.

Когда Николай II отрекся, старая легитимность исчезла практически мгновенно.

Можно было создать новое правительство.

Можно было провозгласить новые политические принципы.

Но невозможно было таким же декретом создать **новое массовое ощущение законности и обязательности власти**.

Это различие чрезвычайно важно.

Государство существует не только потому, что где-то заседает кабинет министров.

Оно существует тогда, когда огромное количество людей — чиновников, военных, полицейских, судей, железнодорожников, губернаторов, крестьян, рабочих — признают решения центра обязательными для исполнения.

В феврале старая система такого признания рухнула.

А новая еще не возникла.

Два источника власти вместо одного

Именно поэтому практически одновременно с Временным правительством появился второй центр власти — Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

Возникло знаменитое **двоевластие**.

С одной стороны находилось Временное правительство, сформированное преимущественно представителями думской политической элиты.

С другой — Совет, опиравшийся на рабочих и, что особенно важно, на вооруженных солдат столичного гарнизона.

Современные исследования прямо говорят о возникновении после Февраля двух источников политической легитимности — Временного правительства и Петроградского совета.

Это была крайне неустойчивая конструкция.

Временное правительство формально являлось государственным правительством.

Но Совет обладал влиянием на ту силу, без которой никакое правительство не может существовать долго, — на вооруженных людей.

Поэтому вопрос о власти с самого начала оставался открытым.

Кому должен подчиняться солдат?

Правительству?

Военному командованию?

Совету?

Собственному солдатскому комитету?

В устойчивом государстве на этот вопрос существует один ответ.

В России весной 1917 года их существовало несколько.

Разрушение старого аппарата принуждения

Еще более существенным было то, что Февральская революция сопровождалась быстрым демонтажем старого полицейского аппарата.

В Петрограде была фактически уничтожена прежняя полицейская система. В первые дни после революции были ликвидированы Департамент полиции и корпус жандармов; на местах прежние органы порядка часто заменялись новыми милициями, создававшимися уже в революционной обстановке.

С точки зрения революционной логики это было понятно.

Полиция и жандармерия воспринимались как опора самодержавия.

Но с точки зрения функционирования государства возникала огромная проблема.

Старый аппарат принуждения разрушался значительно быстрее, чем создавался новый.

Государство освобождалось от институтов самодержавия — и одновременно теряло часть инструментов, позволявших вообще поддерживать порядок.

То, что вчера воспринималось как освобождение от репрессивной системы, завтра могло оказаться отсутствием способности государства обеспечивать собственные решения.

Армия: революция входит в вооруженные силы

Еще опаснее был процесс, происходивший в армии.

Приказ № 1 Петроградского совета от 1 марта 1917 года стал символом новой военной реальности. Он предусматривал создание солдатских комитетов и существенно менял отношения между солдатом и офицером.

Было бы неправильно утверждать, что один этот приказ «разрушил русскую армию». Процесс разложения дисциплины начался раньше и был связан прежде всего с многолетней войной, огромными потерями и общей утратой доверия к власти.

Но после Февраля прежняя система военной иерархии стала разрушаться уже институционально.

Солдат становился не просто подчиненным военного командования, но одновременно **политическим субъектом революции**.

А это принципиально меняло природу армии.

В традиционной армии приказ должен исполняться независимо от политических взглядов солдата.

В революционной армии начинает возникать вопрос:

является ли приказ политически правильным?

Как только такой вопрос становится массовым, армия постепенно перестает быть единым механизмом государственной власти.

Именно кризис контроля над вооруженной силой станет одним из центральных процессов всего 1917 года. Исследования подчеркивают, что вопрос о том, кто реально контролирует организованную вооруженную силу, был одним из ключевых вопросов революции.

Революция пошла из столицы в провинцию

Еще одна проблема состояла в том, что Февраль не остался петроградским событием.

Известие о падении монархии вызвало целую волну **местных революций**.

В губерниях, городах и уездах начиналась перестройка власти. Старые чиновники смещались, создавались новые комитеты, советы и общественные органы. Причем формы этой перестройки сильно различались от региона к региону.

Исследование провинциальной России прямо показывает, что революция в Петрограде дала начало множеству локальных революций, в которых население на местах по-разному понимало, что именно означает падение старого режима и кому теперь должна принадлежать власть.

Именно здесь начинается постепенная **децентрализация революции**.

Петроград мог принимать решения.

Но всё труднее было гарантировать, что эти решения будут одинаково поняты и исполнены в сотнях городов и тысячах волостей огромной страны.

Революция освобождала местную инициативу.

Но одновременно это означало ослабление вертикального контроля центра.

Земля начинает переходить к крестьянам снизу

Особенно важным был аграрный вопрос.

Крестьяне не собирались бесконечно ждать решения Учредительного собрания.

После падения самодержавия само существование помещичьей собственности стало для многих выглядеть временным.

Начался постепенный процесс фактического захвата контроля над землей.

Сначала он принимал сравнительно ограниченные формы: крестьяне сокращали арендную плату, пасли скот на помещичьих землях, рубили лес, использовали пустующие участки.

Но по мере развития революции вмешательство крестьян в управление помещичьими хозяйствами усиливалось. К середине 1917 года местные общины всё чаще препятствовали помещикам распоряжаться имуществом, исходя из убеждения, что земля вскоре всё равно перейдет крестьянам.

Это происходило **до большевистского Декрета о земле**.

То есть большевики позднее узаконили процесс, который во многих местах уже разворачивался снизу.

И это чрезвычайно важно для понимания Октября.

Государство теряло не только политическую власть.

Оно постепенно теряло способность определять реальные отношения собственности.

Если крестьяне уже решают на месте, кому принадлежит земля, центральный закон всё меньше создает действительность и всё чаще вынужден лишь догонять ее.

Временное правительство оказалось в структурно слабой позиции

Почему же Временное правительство не восстановило государственную вертикаль?

Дело было не только в ошибках отдельных политиков.

Само его положение было крайне противоречивым.

Оно получило власть от революции, но должно было одновременно **остановить революционное разрушение государства**.

Оно должно было поддерживать дисциплину в армии, но не могло просто восстановить прежний армейский порядок, потому что революционные солдаты воспринимали его как часть свергнутого режима.

Оно должно было защищать собственность, но не могло игнорировать крестьянское требование земли.

Оно должно было продолжать войну вместе с союзниками, но значительная часть общества всё сильнее хотела мира.

Оно должно было восстановить порядок, но боялось применять методы, которые напоминали бы репрессивную практику самодержавия.

Наконец, Временное правительство само подчеркивало свою **временность**.

Главные вопросы государственного устройства должна была решить будущая Учредительная ассамблея.

В нормальной ситуации это выглядело бы как уважение к демократическому принципу.

В революционной ситуации возникал парадокс.

Власть говорила обществу:

Мы управляем страной, но окончательное право решать основные вопросы принадлежит будущему Учредительному собранию.

А общество отвечало:

Если всё главное будет решено потом, почему мы должны ждать сейчас?

Крестьянин хотел землю сейчас.

Солдат хотел мира сейчас.

Рабочий хотел изменения условий труда сейчас.

Национальные движения хотели определить свой статус сейчас.

Историческое время снова начинало ускоряться.

Демократия оказалась медленнее революции

Здесь появляется еще один принципиальный момент.

Парламентская демократия требует времени.

Необходимо провести выборы.

Создать партии.

Сформулировать программы.

Обсудить законы.

Найти компромисс.

Принять решение.

Реализовать его административно.

Но революция живет в другом временном режиме.

Революционный человек не хочет слышать:

«этот вопрос будет рассмотрен через несколько месяцев».

Он спрашивает:

«Почему нельзя решить его сегодня?»

Именно поэтому Временное правительство столкнулось с фундаментальной проблемой, которую позднее большевики решат совершенно иным способом.

Демократическая процедура требовала **замедления революции**.

Но общество после февраля продолжало ускоряться.

Государство теряет монополию на решение

Постепенно возникала ситуация, в которой всё больше общественных групп начинали решать свои проблемы самостоятельно.

Рабочие создавали фабричные комитеты.

Солдаты — солдатские комитеты.

Крестьяне — земельные комитеты и сельские собрания.

Национальные движения — собственные органы политического представительства.

Советы создавали параллельную систему власти.

Региональные элиты всё чаще ставили вопрос об автономии.

Самоорганизация общества необычайно расширилась.

С точки зрения демократизации это было огромным достижением.

Но у этого процесса существовала другая сторона:

чем больше центров власти возникало снизу, тем меньше центральное правительство оставалось единственным источником обязательных решений.

Революция освобождала общество от государства быстрее, чем успевала создать новое государство.

Февраль одновременно освободил Россию и ослабил ее государственность

Это двойственное наследие Февральской революции необходимо признать полностью.

Было бы неправильно изображать Февраль исключительно как разрушительную катастрофу.

Он принес политические свободы, легализовал партии, отменил многие ограничения старого режима, открыл возможность созыва Учредительного собрания и впервые создал перспективу демократической республики.

Это была **реальная историческая возможность**.

Но одновременно происходил другой процесс.

Падение самодержавия разрушило старую вертикаль власти.

Двоевластие не позволило быстро создать новую.

Старая полиция была демонтирована.

Армейская иерархия слабела.

Крестьяне начинали решать земельный вопрос самостоятельно.

Регионы создавали собственные политические центры.

Местная революция всё меньше подчинялась революции столичной.

Таким образом, демократизация и дезинтеграция шли **одновременно**.

В этом и заключалась трагедия Февраля.

Поэтому Октябрь нельзя считать началом революции

К осени 1917 года Россия уже почти восемь месяцев жила в революции.

Государственная власть была радикально ослаблена.

Армия находилась в глубоком кризисе.

Земельный вопрос всё больше решался явочным порядком.

Национальные движения усиливались.

Временное правительство переживало один кризис за другим.

Советы становились альтернативными центрами политической легитимности.

Поэтому представление о том, что существовало нормальное демократическое государство, которое в октябре внезапно разрушили большевики, исторически слишком упрощенно.

Большевики действительно совершили вооруженный захват власти.

Они несут ответственность за этот выбор и за последующие действия.

Но они захватывали власть **не в устойчивой Российской республике, а внутри уже происходившего процесса распада государственной власти**.

Именно поэтому следует провести принципиальную границу:

Октябрь произошел уже внутри революции — он не начал революцию.

Более того, Октябрь следует рассматривать не только как следующий этап борьбы политических партий.

К этому времени менялся уже сам характер вопроса о власти.

Весной еще можно было спрашивать:

Каким должно быть новое российское государство?

К осени всё настойчивее возникал другой вопрос:

Существует ли еще сила, способная заставить огромную страну снова подчиняться единому центру?

Именно здесь начинается следующий, особенно опасный этап русской революции.

Потому что кризис центральной власти постепенно превращался уже не только в социальную революцию, но и в **территориальный распад государства**.

9. Февраль и начало территориального распада России

Распад государственной власти после Февральской революции имел еще одно измерение, без которого невозможно понять события 1917 года. Ослабевал не только административный контроль центра над обществом. Начинал меняться сам характер отношений между центром и огромными территориями бывшей империи.

Российская империя была многонациональным государством. В ее составе существовали народы с собственной исторической памятью, языком, религией, культурной элитой, а иногда и традицией собственной государственности. Пока имперский центр сохранял силу, национальные движения могли требовать культурных прав, местного самоуправления или автономии, не ставя непосредственно вопрос о разрушении единого государства.

Февральская революция радикально изменила ситуацию.

Исчезла монархия, которая веками являлась общим центром имперской государственности. Временное правительство заявило о гражданском равноправии и отменило многие национальные и религиозные ограничения. Но одновременно возник принципиальный вопрос:

Если старая империя больше не существует политически, на каких основаниях ее народы должны оставаться в составе нового государства?

Ответа на этот вопрос в феврале 1917 года еще не было.

Именно поэтому национальные движения начинают быстро создавать собственные органы политического представительства.

Первоначально речь далеко не всегда шла об отделении

Это обстоятельство принципиально важно.

Было бы исторически неверно представить события 1917 года как мгновенный взрыв сепаратизма.

Для многих национальных движений первоначальной целью являлась не независимость, а **автономия внутри демократически преобразованной России**.

Исследования политических дискуссий 1917 года показывают, что федеративное или автономистское переустройство России имело широкую поддержку среди представителей нерусских народов. В сентябре 1917 года Центральная рада даже созвала в Киеве Съезд народов и областей, на котором представители украинских, еврейских, латышских, литовских, белорусских, эстонских, грузинских, мусульманских, казачьих и других организаций обсуждали именно федеративное преобразование России.

То есть после Февраля еще существовал совершенно реальный сценарий:

не распад России, а превращение ее из централизованной империи в многонациональную федерацию или систему широких автономий.

Но для осуществления такого проекта требовался сильный общегосударственный центр, способный договориться с национальными движениями о новых правилах совместного существования.

Именно такого центра становилось все меньше.

Украина: от автономии к собственной власти

Особенно хорошо этот процесс виден на Украине.

Уже в марте 1917 года в Киеве возникла Центральная рада, объединившая украинские политические, культурные, профессиональные и общественные организации. В апреле Всеукраинский национальный конгресс значительно расширил ее представительность: в нем участвовали представители крестьянских, военных, профессиональных, культурных организаций, партий, городов и земств.

Но первоначально украинское движение не требовало полного отделения от России.

Его основным требованием была **территориальная автономия Украины внутри демократической России**. В 1917 году Центральная рада постепенно создавала собственные институты — представительный орган, Генеральный секретариат, элементы собственной администрации и вооруженных формирований. Между Киевом и Временным правительством шли реальные переговоры о пределах украинской автономии.

Именно здесь становится виден механизм будущего распада.

Пока центральное государство сильно, автономный орган остается частью общего государства.

Но если центр теряет способность обеспечивать власть, автономный орган начинает выполнять все больше функций государства самостоятельно.

Тогда вопрос постепенно меняется.

Сначала:

Какие права должна иметь Украина внутри России?

Затем:

Какие решения Петрограда вообще обязательны для Украины?

И наконец:

Нужен ли Украине Петроград как источник государственной власти?

Полная независимость Украинской Народной Республики была провозглашена уже в январе 1918 года, после Октябрьской революции и начала вооруженного конфликта с большевиками. Поэтому нельзя приписывать Февралю уже завершившийся украинский сепаратизм. Но именно в течение 1917 года возникли **политические институты, которые сделали самостоятельную государственность практически возможной**.

Это различие чрезвычайно важно.

Февраль еще не отделил Украину от России.

Он создал условия, при которых дальнейший распад центральной власти мог превратить автономию в независимость.

Финляндия: государственность внутри империи

Еще более далеко процесс зашел в Финляндии.

Финляндия и до 1917 года занимала особое положение как Великое княжество с собственными политическими институтами и правовой традицией.

После падения монархии возник естественный вопрос: если больше нет российского императора, одновременно являвшегося великим князем Финляндским, кому теперь принадлежит верховная власть?

Финский парламент попытался существенно расширить собственные полномочия. В июле 1917 года он принял так называемый Закон о верховной власти, который передавал парламенту значительную часть власти внутри страны, оставляя общероссийскому центру главным образом внешнюю политику и оборону. Временное правительство отказалось признать такой порядок и распустило парламент.

Это особенно показательный конфликт.

Петроград еще считал Финляндию частью единого государства.

Но финские политические силы уже исходили из того, что падение монархии означает необходимость заново определить отношения с Россией.

Через несколько месяцев Финляндия станет независимой.

А затем, в 1918 году, внутри уже независимой Финляндии разразится кровопролитная гражданская война между красными и белыми.

И это первый важный пример того, почему распад империи нельзя автоматически отождествлять с наступлением мира.

Иногда распад большого государства просто **переносит конфликт внутрь новых государств**.

Прибалтика: автономия быстро приобретает государственные формы

Аналогичные процессы разворачивались в Прибалтике.

После Февральской революции эстонские политические силы потребовали объединения эстонских земель и автономии. Временное правительство согласилось объединить Эстляндскую губернию с северной частью Лифляндии в единую автономную административную единицу. Вскоре была избрана собственная провинциальная ассамблея — Маапяэв.

В Латвии национальное движение также быстро усиливалось, хотя ситуация осложнялась германской оккупацией части территории и нахождением фронта непосредственно в регионе.

Исследования истории Прибалтики подчеркивают, что именно 1917–1918 годы стали решающими: требования автономии стремительно эволюционировали в направлении независимой государственности.

И здесь действовал тот же механизм.

Автономия сама по себе не обязательно разрушает государство.

Но автономия создает собственные:

политические институты, администрацию, национальную элиту, территориальное пространство и представление о собственном политическом субъекте.

Если общий центр продолжает слабеть, эти институты постепенно начинают выполнять функции государства.

Кавказ: региональный центр вместо общероссийского

На Кавказе процесс был еще сложнее из-за чрезвычайного этнического и религиозного многообразия региона.

После Февральской революции Временное правительство создало Особый Закавказский комитет — ОЗАКОМ, которому была передана гражданская власть в регионе. Таким образом, уже весной 1917 года управление Кавказом стало приобретать выраженный региональный характер.

После Октября представители грузинских, армянских и азербайджанских политических сил отказались признавать власть большевиков и создали Закавказский комиссариат.

Причем особенно показательно, что первоначально эти силы **еще сохраняли ориентацию на единую демократическую Россию**. Лишь дальнейшее развитие революции, разгон Учредительного собрания, война и распад общероссийских институтов постепенно вывели Закавказье на путь самостоятельной государственности.

В 1918 году возникнет Закавказская федерация.

Она просуществует совсем недолго.

Затем появятся независимые Грузия, Армения и Азербайджан.

И практически сразу возникнут территориальные конфликты.

Это тоже чрезвычайно важный исторический опыт.

Распад империи не устраняет автоматически старые противоречия.

Он может, наоборот, сделать их **межгосударственными**.

Автономизация происходила далеко за пределами западных окраин

Подобные процессы нельзя свести только к Украине, Финляндии или Кавказу.

В течение 1917–1920 годов собственные органы автономии и самоуправления возникали у башкир, татар, казахов, народов Средней Азии, бурят и других групп.

Исследования постимперского пространства перечисляют Бурят-Монгольскую автономию, Кокандскую автономию, Алаш, татарские и башкирские проекты

самоуправления как разные формы попытки построить новые отношения с распадающимся общероссийским центром.

И здесь особенно ясно видно, что происходило на самом деле.

Россия не просто делилась на несколько заранее существовавших национальных государств.

После исчезновения старого центра **десятки различных общностей начинали заново определять, кому должна принадлежать власть и на какой территории**.

А это совершенно иной тип кризиса.

Главная проблема — границы

Можно представить распад империи как относительно простой процесс:

русские создают свое государство;

украинцы — свое;

грузины — свое;

армяне — свое;

финны — свое.

После чего все новые государства мирно устанавливают границы.

Но реальная этническая география Российской империи делала такую модель практически невозможной.

Народы не жили компактными однородными блоками.

Население было перемешано.

Границы исторических областей не совпадали с этническими границами.

Экономические связи не совпадали с политическими.

Города часто имели совершенно иной этнический состав, чем окружающая сельская местность.

Поэтому практически каждый новый национальный проект ставил вопрос:

Где именно должна проходить граница?

И кто должен решать этот вопрос?

Население?

Историческое право?

Этническое большинство?

Экономическая необходимость?

Военная сила?

Именно здесь потенциальный распад становился особенно опасным.

Мирное расхождение было лишь одним из возможных сценариев

Теоретически Россия могла превратиться в федерацию.

Теоретически различные национальные движения могли мирно договориться между собой.

Теоретически часть территорий могла получить независимость без крупных войн.

Поэтому было бы неверно утверждать, что распад неизбежно привел бы к катастрофе большей, чем реальная Гражданская война.

Мы просто не можем этого знать.

Но столь же неправильно предполагать противоположное:

если бы большевики не пришли к власти, Россия спокойно превратилась бы в демократическую федерацию или несколько мирных национальных государств.

Исторические события 1917–1921 годов показывают, насколько конфликтным было само формирование новых государств.

Финляндия пережила гражданскую войну. В Прибалтике борьба за государственность переплелась с германским наступлением и гражданским конфликтом. Украина стала ареной борьбы нескольких правительств, красных, белых, национальных армий, Польши, Германии и Австро-Венгрии. На Кавказе возникли вооруженные конфликты между новыми государствами.

Нельзя механически перенести эти события в воображаемый сценарий «без большевиков»: сами большевики были важнейшими участниками многих этих войн.

Но исторический опыт показывает другое:

территориальный распад многонациональной империи сам по себе содержал огромный потенциал насилия.

Внешние силы тоже не остались бы наблюдателями

К этому необходимо добавить международный фактор.

Россия распадалась не в мирной Европе, а в условиях мировой войны.

Германия и Австро-Венгрия стремились использовать национальные движения и территориальное ослабление России в собственных интересах.

Османская империя имела интересы на Кавказе.

Позднее державы Антанты также вмешивались в события на территории бывшей империи.

Поэтому всякий вакуум власти неизбежно становился одновременно пространством международной политики.

Если центральное государство исчезает, территория не остается политически пустой.

На нее начинают претендовать:

местные национальные движения;

региональные военные силы;

соседние государства;

великие державы.

Таким образом, процесс распада России потенциально означал не просто образование новых государств, а **пересечение гражданских, национальных и международных конфликтов**.

Февраль открыл сразу два пути

В этом и заключается двойственность национального вопроса после Февральской революции.

С одной стороны, исчезновение самодержавия действительно создало возможность построить совершенно новую Россию — федеративную, многонациональную, основанную не на подданстве одному монарху, а на добровольном политическом соглашении ее народов.

И такая возможность была реальной.

С другой стороны, для ее осуществления требовалось государство, способное заключить и затем обеспечить это соглашение.

Но именно государство продолжало слабеть.

Поэтому чем дольше затягивался общероссийский кризис, тем рациональнее становилось для региональных элит создавать собственные институты власти.

А чем сильнее становились эти институты, тем меньше зависимость от общероссийского центра.

Возникал еще один самоускоряющийся механизм:

слабость центра → рост региональной автономии → создание собственных институтов → дальнейшее ослабление центра → рост требований суверенитета.

И это очень напоминает уже знакомую нам политическую ловушку поздней империи.

Только теперь она действовала не между государством и революцией, а между **центром и территориями**.

Россия начинала распадаться еще до Октября

Поэтому можно сделать важный вывод.

Было бы неверно утверждать, что территориальный распад Российской империи был создан исключительно большевиками.

Процесс политической автономизации начался сразу после падения монархии.

Уже весной и летом 1917 года возникли украинский, финляндский, эстонский и другие центры власти. По мере ослабления Временного правительства их самостоятельность увеличивалась.

Но столь же неправильно утверждать, что полное территориальное разрушение России уже было предрешено к октябрю.

Многие национальные движения продолжали связывать свое будущее с демократической, федеративной или децентрализованной Россией. Даже после Октября часть закавказских элит первоначально сохраняла верность идее единой демократической России.

Следовательно, мы снова сталкиваемся с тем же явлением, которое проходит через всю историю 1917 года:

альтернатива еще существует, но пространство для ее осуществления стремительно сокращается.

И вот к осени 1917 года вопрос о власти приобретает уже совершенно иной смысл.

В начале революции спор шел о том, **каким должно быть российское государство**.

Монархическим или республиканским?

Унитарным или федеративным?

Либеральным или социалистическим?

Но по мере распада армии, администрации, земельных отношений и территориального пространства возникает более фундаментальный вопрос:

Кто вообще способен сохранить или заново собрать государство?

Именно с этого момента оценка большевизма становится значительно сложнее.

Потому что большевики выходят на историческую сцену уже не просто как одна из партий, предлагающих свой вариант устройства России.

Они становятся одной из сил, претендующих на ответ на гораздо более первичный вопрос:

существует ли еще политическая сила, способная восстановить единый центр власти на пространстве распадающейся страны?

10. К осени 1917 года вопрос меняется

К осени 1917 года характер российского политического кризиса существенно изменился.

В начале XX века главный вопрос еще можно было формулировать так:

Как реформировать Россию?

Ограничить ли власть монарха? Как решить аграрный вопрос? Как расширить представительство? Как превратить Думу в полноценный парламент? Как встроить рабочее движение и национальные окраины в обновленное государство?

После Февраля вопрос некоторое время звучал уже иначе:

Какое государство должно возникнуть на месте Российской империи?

Республика или конституционная система? Унитарное государство или федерация? Либеральное или социалистическое устройство?

Но к осени 1917 года постепенно возникает еще более фундаментальный вопрос:

Кто вообще способен осуществлять государственную власть?

Это изменение имеет принципиальное значение для понимания большевистской победы.

Недостаточно было выиграть политический спор

В нормальной политической системе партия может существовать десятилетиями в оппозиции.

Она предлагает программу, участвует в выборах, формирует коалиции, постепенно увеличивает представительство и однажды получает возможность сформировать правительство.

Но Россия 1917 года все меньше была похожа на нормальную парламентскую систему.

Центральное правительство слабо контролировало территорию. Армия распадалась. Крестьяне самостоятельно решали земельный вопрос. Национальные движения создавали собственные органы власти. Советы претендовали на самостоятельную политическую легитимность. Экономический и транспортный кризис усиливался.

Исследование революции в провинциальной России показывает, что уже после Февраля местные интересы все чаще начинали преобладать над общегосударственными, а распад центральной власти приводил к образованию фактически автономных местных экономических и политических пространств.

В этой ситуации уже недостаточно было убедить общество в правильности своей программы.

Нужно было уметь:

принимать решения;
создавать аппарат их исполнения;
контролировать вооруженную силу;
удерживать собственную организацию от распада;
обеспечивать связь между центром и местами;
и, наконец, объяснить обществу, ради чего вообще должна существовать новая власть.

То есть политическая конкуренция постепенно превращалась в конкуренцию **государствообразующих способностей**.

Альтернативы большевикам продолжали существовать

Из этого вовсе не следует, что осенью 1917 года большевики были единственной политической силой России.

Такое утверждение противоречило бы фактам.

Существовали эсеры, меньшевики, кадеты, различные социалистические коалиции. Продолжалась подготовка выборов в Учредительное собрание. В сентябре состоялось Демократическое совещание, а затем был создан Предпарламент — еще одна попытка объединить различные общественные и политические силы вокруг Временного правительства и создать более широкую основу его легитимности.

Причем умеренные социалисты сохраняли значительное влияние. На Демократическом совещании эсеры различных течений получили 532 места, меньшевики — 172, большевики — 136.

И даже результаты выборов в Учредительное собрание, состоявшихся уже после Октября, показывают, насколько далеко Россия была от ситуации всеобщей поддержки большевиков. Большевики получили около 24 процентов голосов; крупнейшей силой оставались социалисты-революционеры.

Следовательно, нельзя сказать:

Россия выбрала большевиков, потому что никаких других политических сил уже не существовало.

Они существовали.

Но существование политической альтернативы и способность этой альтернативы **создать устойчивую государственную власть** — не одно и то же.

Эсеры обладали массой, но не единым политическим центром

Особенно показателен пример эсеров.

Если судить по поддержке населения, именно они имели наиболее серьезные основания претендовать на роль общенациональной социалистической партии.

Их земельная программа была чрезвычайно близка настроениям крестьянства. Они пользовались огромным влиянием в деревне, в Советах и среди части армии.

В нормальной парламентской системе именно такая партия могла бы стать естественным центром власти.

Но революционная Россия требовала не только электоральной поддержки.

Необходимо было превратить разнородную поддержку миллионов крестьян в **единую вертикаль политического действия**.

А здесь возникали серьезные проблемы.

Эсеровское движение было внутренне неоднородным. Правые и левые эсеры все сильнее расходились в отношении войны, сотрудничества с Временным правительством, земельной политики и вопроса о власти.

Массовость партии не означала автоматически организационного единства.

Миллионы избирателей могут проголосовать за определенную программу.

Но государство требует значительно большего: способности заставить тысячи местных органов, воинских частей и чиновников действовать в соответствии с решениями одного центра.

Именно этого революционной демократии все больше не хватало.

Меньшевистская логика требовала того времени, которого уже почти не оставалось

Меньшевики предлагали значительно более постепенный путь.

Россия, по их представлению, еще должна была пройти этап демократического развития. Следовало сформировать широкую политическую коалицию, развивать представительные институты, дождаться Учредительного собрания и только затем двигаться дальше.

В долгосрочной перспективе такая стратегия могла оказаться вполне жизнеспособной.

Но она исходила из предположения, что государство обладает временем.

Необходимо дождаться выборов.

Сформировать представительные органы.

Договориться между партиями.

Закрепить новый правовой порядок.

А революционное общество уже не желало ждать.

Солдат хотел окончания войны.

Крестьянин — земли.

Рабочий — контроля над предприятием и улучшения условий жизни.

Национальные движения — определения собственного статуса.

И здесь снова проявляется главная особенность 1917 года:

демократическая политика требовала времени, а революция непрерывно это время сокращала.

Временное правительство искало легитимность, но не смогло ее закрепить

Само Временное правительство прекрасно понимало свою проблему.

В течение 1917 года предпринимались многочисленные попытки расширить его общественную базу: создавались коалиционные правительства, проводилось Государственное совещание в Москве, затем Демократическое совещание и Предпарламент.

Все эти конструкции должны были решить одну и ту же проблему:

дать центральной власти политическую легитимность до созыва Учредительного собрания.

Но ни одна из них не смогла создать общепризнанный источник власти. Исследования подчеркивают, что Временное правительство с самого начала испытывало дефицит легитимности, одновременно конкурируя с Советами и пытаясь построить опору на коалиции либеральных и умеренно-социалистических сил.

Получалась парадоксальная ситуация.

Россия обладала необычайно богатой политической жизнью.

Десятки партий.

Советы.

Земства.

Городские думы.

Профсоюзы.

Крестьянские организации.

Национальные представительства.

Но множество источников политической активности не складывалось в **единый источник обязательной власти**.

Свободы становилось больше.

Государства — меньше.

Корниловский кризис окончательно подорвал центр

Особенно разрушительным стал кризис августа 1917 года.

Попытка генерала Корнилова установить более жесткий порядок — независимо от споров о его точных намерениях — резко усилила страх левых сил перед военной контрреволюцией.

После Корниловского дела умеренная коалиция оказалась еще слабее.

Правые все больше сомневались в способности Временного правительства восстановить порядок.

Левые видели угрозу контрреволюции.

А большевики, участвовавшие в мобилизации против Корнилова, заметно усилили свое влияние. К осени они получили большинство в ключевых Советах Петрограда и Москвы.

Это был принципиальный перелом.

Политический центр разрушался одновременно с двух сторон.

Справа все отчетливее звучало требование жесткой власти.

Слева — передачи всей власти Советам.

Компромиссная формула становилась все менее убедительной.

Большевики предложили не самую подробную, а самую ясную программу

Именно в такой ситуации становится понятной сила большевистских лозунгов.

Они не предлагали обществу сложную последовательность институциональных реформ.

Они говорили значительно проще:

мир — солдатам;
земля — крестьянам;
контроль — рабочим;
вся власть — Советам.

К осени 1917 года эти требования хорошо совпадали с настроениями значительной части рабочих и солдат крупных городов. Исследования отмечают, что большевистская поддержка среди различных групп складывалась по разным причинам: рабочие связывали их с рабочим контролем, крестьяне — с земельным переделом, солдаты — с обещанием прекратить войну, а сторонники Советов — с непосредственной советской властью.

Именно эта простота имела огромное значение.

Умеренные говорили:

Нужно дождаться Учредительного собрания.

Большевики отвечали:

Власть можно взять сейчас.

Умеренные говорили:

Земельный вопрос должен решить законно избранный общенациональный орган.

Большевики:

Землю необходимо передать крестьянам сейчас.

Умеренные:

Мир должен быть результатом сложных международных переговоров.

Большевики:

Войну необходимо прекратить сейчас.

Политическая программа большевиков идеально соответствовала **ускорившемуся историческому времени революции**.

Организованное меньшинство получает преимущество в распадающемся обществе

Но ясных лозунгов было недостаточно.

Решающим оказалось сочетание программы с организацией.

Современные исследования государственного распада 1917 года обращают внимание на закономерность, которая выходит далеко за пределы России: когда крупные государственные и общественные институты разрушаются, преимущество получают относительно небольшие, но хорошо организованные группы, способные сохранять внутреннюю дисциплину в условиях общей демобилизации. Именно такой фактор авторы считают принципиально важным для успехов большевиков.

Это очень важное наблюдение.

Большевикам не требовалось, чтобы большинство населения России состояло из убежденных марксистов.

Им необходимо было обладать более организованным ядром, чем их противники, в тех местах, где решался вопрос о власти.

Революция создавала огромное количество политически активных людей.

Но активность — еще не организация.

Миллионы крестьян могли хотеть земли, не создавая общероссийского центра власти.

Миллионы солдат могли хотеть мира, одновременно покидая свои части.

Миллионы граждан могли поддерживать Учредительное собрание, но не существовало армии Учредительного собрания, способной обеспечить исполнение его будущих решений.

И здесь дисциплинированная партия приобретала непропорционально большое значение.

Большевики обладали тем, что постепенно исчезало у остальных, — волей к централизации

Парадокс большевизма заключался в том, что партия, выступавшая под лозунгом разрушения старого государства, сама обладала чрезвычайно выраженной способностью к организации центра.

Внутри большевистского движения шли острые споры. Даже вопрос о вооруженном восстании вызвал серьезные разногласия.

Но после принятия решения партия была гораздо лучше многих конкурентов приспособлена к коллективному действию.

И именно это становилось решающим преимуществом.

Проблема России состояла уже не только в недостатке свободы.

К осени 1917 года возник противоположный дефицит:

дефицит способности превращать политическую волю в обязательное решение.

Большевики эту способность демонстрировали значительно сильнее своих умеренных конкурентов.

Но это еще не означает исторической неизбежности Октября

Здесь необходимо снова провести важную границу.

Нельзя утверждать, что после Февраля большевистская победа была предрешена.

Существовали другие варианты.

Более ранний созыв Учредительного собрания теоретически мог усилить эсеров как общенациональную силу; в историографии действительно обсуждается контрфактический сценарий, при котором правительство с сильным эсеровским центром получило бы широкую демократическую легитимность.

Существовали возможности социалистической коалиции.

Существовала вероятность более авторитарного решения справа.

Существовали региональные варианты развития.

Поэтому Октябрь нельзя превращать в механическое следствие Февраля.

Но можно сказать другое:

к осени 1917 года критерии политического успеха настолько изменились, что преимущества получили силы, способные действовать быстрее, решительнее и организованнее остальных.

А именно этим требованиям большевистская партия соответствовала особенно хорошо.

Изменился сам вопрос о власти

Именно поэтому между февралем и октябрем произошел глубокий смысловой перелом.

Весной вопрос еще звучал:

Как создать демократическое государство?

Осенью:

Кто способен создать хоть какое-то устойчивое государство?

Это не означает, что демократическая альтернатива исчезла полностью.

Но ее осуществление требовало:

времени;

доверия;

согласия основных политических сил относительно правил игры;

управляемой армии;

работающего аппарата;

признания решений центра регионами и социальными группами.

Всех этих ресурсов становилось всё меньше.

Большевистская модель требовала другого:

организованного ядра, ясной цели и готовности захватить власть, не дожидаясь окончательного общенационального согласия.

И именно поэтому историческое преимущество постепенно перемещалось к ним.

К осени 1917 года вопрос состоял уже не только в том, чья программа пользовалась большей поддержкой. Он всё больше состоял в том, какая политическая сила способна превратить свою программу в действующую власть.

Именно здесь начинается следующий важный аспект большевизма.

Большевики обладали не просто программой.

Они обладали особым типом организации и особым пониманием собственной исторической миссии.

Они воспринимали себя не обычной партией среди других партий, а **авангардом революции — организацией действия, призванной провести общество через исторический перелом**.

И именно этот почти орденский тип партии необходимо рассмотреть далее, чтобы понять, почему сравнительно небольшая политическая организация смогла получить такое огромное преимущество в распадающемся государстве.

11. Почему победили большевики: партия как орден действия

К осени 1917 года преимущество большевиков заключалось уже не только в их лозунгах. Оно заключалось в самом **типе политической организации**.

Большевистская партия значительно меньше походила на обычную парламентскую партию, существующую прежде всего для представительства интересов своих избирателей. Ленинская концепция исходила из необходимости сравнительно небольшого, дисциплинированного ядра профессиональных революционеров, способного организовывать массовое движение и направлять его к захвату власти. Именно акцент на организации и дисциплине, формировавшийся еще задолго до 1917 года, позднее оказался важным преимуществом большевиков в условиях революционного кризиса.

В этом смысле большевистскую партию можно условно назвать **светским революционным орденом**.

Речь, разумеется, не идет о религиозной организации в буквальном смысле. И внутри самой партии существовали серьезные разногласия — в том числе по вопросу о вооруженном восстании. Историография показывает, что большевизм 1917 года был значительно менее монолитным, чем позднейший советский образ единой партии, безошибочно следующей за Лениным.

Но существовал особый тип партийной идентичности.

Большевик должен был воспринимать себя не просто человеком с определенными политическими убеждениями, а **участником всемирно-исторического дела**.

Он был, если воспользоваться метафорой, **солдатом революции**.

От него требовались дисциплина, готовность к риску, способность подчинить частную жизнь политической цели и убеждение в том, что собственная деятельность является частью значительно более широкого исторического процесса.

Именно это отличало большевизм от многих других политических сил 1917 года.

Либералы предлагали процедуру. Большевики — исторический смысл

Либеральная демократия могла предложить России вполне рациональную программу:

выборы;

Учредительное собрание;

конституцию;

разделение властей;

правовые гарантии;

постепенное решение земельного и национального вопросов.

Но всё это предполагало существование политического времени.

Необходимо было ждать выборов, обсуждать программы, создавать коалиции, принимать законы, договариваться между конфликтующими группами.

Для устойчивого государства именно так и должна работать политика.

Но Россия осенью 1917 года уже находилась в состоянии, когда миллионы людей требовали решения своих проблем **немедленно**.

Солдат хотел мира.

Крестьянин — земли.

Рабочий — изменения отношений на предприятии.

Национальные движения — определения собственного политического статуса.

Большевики отвечали именно этому ускоренному ритму революции.

Они говорили не:

«Необходимо создать процедуру, которая позволит впоследствии решить эти вопросы».

Они говорили:

«Решать нужно сейчас».

Их поддержка в конце 1917 года складывалась именно из нескольких различных ожиданий: часть рабочих связывала их с рабочим контролем, крестьяне — с земельным переделом, солдаты — с обещанием выхода из войны, сторонники Советов — с передачей власти Советам.

Но за этими отдельными требованиями существовало нечто еще более важное.

Большевизм предлагал **объяснение происходящего хаоса**.

Катастрофа превращалась в рождение нового мира

Для человека 1917 года происходящее могло выглядеть как бессмысленное разрушение.

Гибнет армия.

Исчезает прежняя власть.

Рушится хозяйство.

Крестьяне захватывают землю.

Регионы выходят из-под контроля центра.

Старые социальные и нравственные нормы перестают действовать.

В такой ситуации особенно сильной становится идеология, способная сказать:

Это не бессмысленный распад. Это переход от старого мира к новому.

Именно такое объяснение предлагал марксистский большевизм.

Старое государство разрушается не потому, что история потеряла направление, а потому, что исчерпала себя прежняя общественная форма.

Война, социальный конфликт и революция оказываются проявлениями более глубокого исторического процесса.

Россия перестает быть просто страной, потерпевшей государственную катастрофу.

Она превращается в пространство, где **начинается следующая эпоха мировой истории**.

И это придавало большевистскому действию совершенно особый смысл.

Революционер мог воспринимать собственные лишения, риск, подполье, тюрьму и даже возможную смерть не как частную трагедию, а как участие в историческом освобождении человечества.

Отсюда возникала мобилизующая сила, напоминающая религиозную веру, хотя сама большевистская доктрина была материалистической.

Большевики знали не только против чего они выступают, но и куда, как им казалось, идет история

Это различие особенно существенно.

Значительная часть политических сил 1917 года стремилась **остановить распад**.

Большевики же могли интерпретировать сам распад как часть необходимого исторического перехода.

Это давало им психологическое преимущество.

Для умеренного политика разрушение прежнего порядка прежде всего являлось проблемой.

Для революционера оно одновременно могло быть **возможностью**.

Чем быстрее разрушались старые институты, тем реальнее становилась перспектива перехода к совершенно новой системе.

Поэтому большевики значительно меньше других зависели от сохранения существовавших государственных форм.

Они собирались не ремонтировать старое государство, а построить новое.

Именно здесь впервые проявляется та особенность большевистского сознания, которая впоследствии станет чрезвычайно важной для всей советской истории:

убеждение, что объективный ход истории известен и что революционная партия способна сознательно ускорить его осуществление.

Пока это убеждение давало прежде всего решительность.

Позднее оно станет источником гораздо более серьезных проблем.

Организованное меньшинство в условиях всеобщего распада

Большевики не составляли большинства населения России.

Выборы в Учредительное собрание позднее это ясно покажут.

Но в условиях распада государства само соотношение численности политических лагерей уже не полностью определяло исход борьбы.

Когда крупные государственные и общественные структуры демобилизуются, сравнительно небольшие, но хорошо организованные группы получают преимущество перед значительно более многочисленными, но распыленными силами. Именно этот механизм современные исследователи называют одним из важных факторов успеха большевиков после государственного распада 1917 года.

Миллионы крестьян хотели земли.

Но крестьянство не представляло собой единую общероссийскую политическую организацию.

Миллионы солдат хотели мира.

Но массовое дезертирство скорее разрушало армию, чем создавало новую политическую силу.

Миллионы граждан поддерживали эсеров.

Но электоральная поддержка сама по себе еще не создает аппарат, способный управлять огромной распадающейся территорией.

Большевики же обладали организационным ядром, способным принимать решения и добиваться их исполнения.

И в ситуации, когда общество становилось все более фрагментированным, это качество приобретало непропорционально большое значение.

Исследователи российского государственного распада прямо отмечают: в подобных условиях дисциплинированные радикальные группы способны сохранять политическую мобилизацию тогда, когда значительная часть общества уже отходит от политики и сосредоточивается на непосредственном выживании.

Партия как механизм превращения идеи во власть

Именно здесь становится понятен «орденский» характер большевизма.

Орден отличается от обычного объединения не просто строгой дисциплиной.

Его участник воспринимает собственную деятельность как служение миссии, превышающей его личную жизнь.

У большевиков такой миссией была революция.

Партия соединяла:

теорию, объяснявшую направление истории;

организацию, превращавшую теорию в коллективное действие;

дисциплину, позволявшую сохранять это действие в условиях кризиса;

и образ будущего, ради которого настоящее получало смысл.

Именно соединение этих элементов делало большевиков необычайно эффективной политической силой.

Разумеется, захват власти оказался значительно легче, чем последующее строительство государства. После Октября большевики получили лишь основные центры управления распадавшегося административного механизма и столкнулись с огромными трудностями при попытке заставить этот механизм работать.

Но в октябре решался еще не вопрос о том, смогут ли они построить устойчивое государство на десятилетия.

Решался вопрос:

кто способен взять власть сейчас?

Именно к этому большевистская партия была подготовлена лучше многих конкурентов.

Смысл как политический ресурс

Поэтому победу большевиков нельзя объяснить одной дисциплиной.

Дисциплинированная организация без идеи могла остаться небольшой заговорщической группой.

И одной привлекательной идеи также было недостаточно.

Необходимо было соединение двух начал:

исторического смысла и организационного действия.

Большевики предлагали обществу чрезвычайно сильную интерпретацию происходящего:

Старый мир рушится не напрасно.
Его разрушение является необходимым этапом рождения нового общества.
И мы знаем, каким должно быть это общество и каким путем к нему идти.

Именно поэтому большевизм мог превращать хаос в мобилизующий образ будущего.

В условиях спокойной парламентской жизни такая историческая вера вовсе не обязательно даввала бы преимущество.

Но в ситуации, когда прежние институты исчезали, а будущее становилось совершенно неопределенным, способность сказать **«мы знаем, что происходит и куда идти дальше»** становилась огромным политическим ресурсом.

Либералы предлагали России процедуру.

Большевики предложили ей **исторический смысл, организацию и действие одновременно**.

И в революционной ситуации это сочетание оказалось чрезвычайно сильным.

Но здесь возникает парадокс, который необходимо рассмотреть дальше.

Большевики пришли к власти как сила, стремившаяся разрушить старое государство и начать мировую революцию.

Однако уже очень скоро именно им придется решать прямо противоположную задачу:

создавать государство, формировать армию, восстанавливать управляемость и заново собирать распадающееся пространство бывшей империи.

То есть революционный «орден разрушения» почти сразу должен будет превратиться в **орден нового государственного строительства**.

12. Большевизм как продукт распада и одновременно средство его остановки

Здесь возникает один из главных парадоксов русской революции.

Большевики были частью революционного движения, которое последовательно разрушало старый политический порядок. Они отрицали монархию, отвергали прежнюю

государственную систему, поддерживали революционное переустройство общества и признавали право наций на самоопределение вплоть до отделения.

В этом смысле большевизм несомненно принадлежал силам **разрушения старого государства**.

Но после прихода к власти ситуация изменилась почти мгновенно.

Партия, которая десятилетиями готовилась к революции, оказалась перед совершенно иной задачей:

не разрушить государство, а создать новое.

И именно здесь начинается парадоксальная трансформация большевизма из силы революционного распада в силу нового государственного собирания.

Разрушить власть оказалось легче, чем заменить ее

Октябрьский переворот дал большевикам контроль над важнейшими учреждениями столицы, но сам по себе еще не означал контроля над Россией.

Государственный аппарат был дезорганизован.

Многие чиновники не признавали новую власть.

Армия продолжала распадаться.

Экономика находилась в тяжелейшем положении.

На значительной части территории существовали собственные правительства, национальные движения, казачьи области, белые армии, местные Советы и различные вооруженные формирования.

Историки первых месяцев советской власти отмечают именно эту двойственность: разрушение старого государственного аппарата происходило одновременно с интенсивным строительством новых институтов. (cambridge.org)

То есть после революции большевики столкнулись с фундаментальной проблемой, которая постепенно меняла сам характер их политики.

Революционер может утверждать:

старый аппарат необходимо уничтожить.

Но государственный деятель через несколько недель вынужден спрашивать:

кто завтра будет собирать налоги, управлять железными дорогами, снабжать города, командовать армией и выполнять решения центральной власти?

Революционная логика разрушения неизбежно столкнулась с логикой государственного существования.

Красная армия: возвращение дисциплины

Особенно хорошо эта трансформация видна на примере армии.

После Февраля старая армия постепенно распадалась. Большевистская революционная традиция сама долгое время относилась с подозрением к постоянной армии, офицерской иерархии и жесткой военной дисциплине.

Но Гражданская война чрезвычайно быстро заставила пересмотреть эти представления.

В течение 1918 года большевики начали переход от добровольных и плохо организованных революционных отрядов к централизованной регулярной армии. Уже V Всероссийский съезд Советов в июле 1918 года провозгласил необходимость единого руководства вооруженными силами, военной дисциплины, командиров и комиссаров. (cambridge.org)

То есть всего через несколько месяцев после революции партия, провозглашавшая освобождение солдата от старой армейской системы, начала восстанавливать многие элементы, без которых армия просто не могла существовать:

централизованное командование;
дисциплину;
военную иерархию;
обязательность приказа;
профессиональный офицерский корпус.

Создание Красной армии происходило постепенно и сопровождалось серьезными спорами внутри самого большевистского движения. Но уже к концу 1918 года направление было определено: революционная вооруженная масса должна была превратиться в **регулярную государственную армию**. (cambridge.org)

И это было больше, чем просто военная необходимость.

Восстановление армии означало восстановление одного из главных признаков государства — способности центра концентрировать организованную вооруженную силу.

Партия постепенно становится государством

Похожий процесс происходил и в политической системе.

Изначально советская модель предполагала власть Советов как форму непосредственного революционного представительства рабочих, солдат и крестьян.

Но Гражданская война требовала чрезвычайно быстрых решений, централизованного распределения ресурсов и жесткого контроля над территориями.

В результате именно партия постепенно превращалась в главный механизм координации нового государства.

Историки советского государственного строительства отмечают, что именно в условиях Гражданской войны большевистская партия стала центральным органом новой власти и

массовой организацией, тесно переплетенной с государственным аппаратом. (cambridge.org)

Происходит характерная инверсия.

До революции партия должна была разрушить государственную машину.

После революции партия сама начинает выполнять функции этой машины.

А затем постепенно строит вокруг себя новый аппарат управления.

Именно поэтому советское государство довольно быстро становится значительно более централизованным, чем это предполагали многие революционные лозунги 1917 года.

Гражданская война вынуждала к централизации

Гражданская война резко ускорила этот процесс.

Чтобы победить, необходимо было:

мобилизовывать людей;

изымать продовольствие;

перебрасывать войска;

контролировать железные дороги;

распределять промышленную продукцию;

подавлять сопротивление в тылу;

подчинять местные органы решениям центра.

Экономика военного коммунизма стала попыткой максимально централизовать управление ресурсами страны. Исследования этого периода подчеркивают, что большевики стремились подчинить хозяйство центральным приказам, хотя на практике реальная система оставалась значительно менее управляемой, чем предполагала официальная схема. (cambridge.org)

Возникает фундаментальная закономерность революции:

чем сильнее распадается общество, тем более централизованную власть необходимо создать, чтобы этот распад остановить.

Именно поэтому революция, начавшаяся под лозунгами разрушения старой государственной машины, довольно быстро породила чрезвычайно мощное новое государство.

Большевики начинают собирать территорию

Но наиболее парадоксальный процесс происходил в территориальном отношении.

После 1917 года пространство бывшей Российской империи распалось на множество политических образований.

Возникли независимые или претендующие на независимость государства на Украине, Кавказе, в Прибалтике и других регионах. Существовали белые правительства, казачьи области, местные социалистические режимы, национальные администрации.

В течение Гражданской войны большевистский центр постепенно вернул под свой контроль значительную часть этих территорий.

Этот процесс нельзя описывать исключительно как добровольное объединение.

В *Cambridge History of Communism* прямо отмечается, что новый революционный режим добивался территориального суверенитета в Украине, на Кавказе и в Центральной Азии в значительной мере посредством военной силы. (cambridge.org)

Поэтому выражение **«собирание государства»** не должно скрывать методов этого собирания.

Это были:

гражданская война;

военные кампании;

создание советских правительств;

подавление альтернативных политических режимов;

переговоры и союзы;

а иногда сочетание всех этих методов одновременно.

Но результат трудно отрицать.

К началу 1920-х годов большая часть бывшей Российской империи снова оказалась связана единым политическим и военным центром.

Однако восстановлена была не Российская империя

Здесь необходимо провести важную границу.

Большевики не восстановили империю в прежних границах.

Финляндия сохранила независимость.

Независимыми остались Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Часть западных территорий бывшей империи оказалась в составе Польши, Румынии и других государств.

Поэтому говорить о полном восстановлении Российской империи было бы неверно.

Но территория созданного советского государства в значительной степени совпала с основным пространством бывшей империи. Исследование Библиотеки Конгресса характеризует СССР, созданный в декабре 1922 года, как государство, охватывавшее территорию, в целом соответствовавшую значительной части пространства прежней Российской империи. (loc.gov)

То есть большевистская революция привела одновременно к двум противоположным результатам:

часть имперского пространства окончательно отделилась;

и

большая его часть была вновь объединена под новым центром.

СССР как новая форма большого государства

Формальным завершением этого процесса стало создание Союза Советских Социалистических Республик в декабре 1922 года.

Советская Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская федерация образовали новое союзное государство.

Причем сама его форма была принципиально иной, чем устройство Российской империи.

Советский Союз строился как федерация национально-территориальных республик. В процессе его создания существовал серьезный спор между более централизованной моделью включения республик в РСФСР и ленинской идеей формально равноправного союза республик. Итоговая конструкция стала компромиссом между этими подходами. (loc.gov)

Таким образом, большевики не просто вернули территории под власть Москвы.

Они создали **новую политическую форму существования многонационального пространства**.

Имперский принцип:

единый монарх — множество народов

был заменен другим:

единый партийно-государственный центр — союз формально национальных республик.

Насколько реальным было их политическое равноправие — отдельный вопрос.

Но сама конструкция принципиально отличалась от прежней империи.

Разрушители империи становятся наследниками ее пространства

И здесь возникает, пожалуй, один из самых глубоких исторических парадоксов большевизма.

Большевики пришли к власти как радикальные противники Российской империи.

Они осуждали империализм.

Признавали право народов на самоопределение.

Рассчитывали на мировую революцию, которая вообще должна была сделать национальные государства исторически преходящими.

Но реальная политика очень быстро заставила их решать традиционную проблему любого большого российского государства:

как удержать огромное, многонациональное и чрезвычайно неоднородное пространство внутри единой политической системы?

И в этом отношении Советский Союз оказался одновременно **отрицанием Российской империи и ее историческим преемником**.

Отрицанием — потому что изменились идеология, политический строй, социальная структура и форма национального устройства.

Преемником — потому что новая власть снова создала единый центр на большей части того же геополитического пространства.

Но государственное собирание имело свою цену

Именно поэтому нельзя перейти от факта восстановления государства к простому оправданию большевистской политики.

Новая централизация сопровождалась:

ликвидацией политических противников;

ограничением свободной политической конкуренции;

разгоном Учредительного собрания;

созданием чрезвычайных органов;

Красным террором;

военными реквизициями;

подавлением восстаний.

Библиотека Конгресса, опираясь на материалы российских архивов, отмечает, что уже в первые годы большевистского правления борьба за сохранение нового режима сопровождалась подавлением политической оппозиции и быстрым расширением полномочий ВЧК. (loc.gov)

Следовательно, формула:

большевики остановили распад России

сама по себе недостаточна.

Необходимо сразу добавить:

они остановили значительную часть этого распада посредством строительства централизованного революционного государства, в том числе с помощью масштабного насилия.

Оба утверждения являются частью одной исторической реальности.

Большевизм был одновременно продуктом распада и ответом на него

Именно теперь можно сформулировать центральный парадокс.

Большевизм стал возможен благодаря разрушению прежнего государства.

Без падения монархии, распада армии, двоевластия, крестьянской революции и территориальной фрагментации небольшая революционная партия едва ли получила бы возможность захватить власть.

То есть большевизм был **продуктом распада**.

Но после прихода к власти его собственное существование зависело уже от прямо противоположного процесса.

Чтобы выжить, большевикам пришлось:

создать правительство;

восстановить аппарат;

создать регулярную армию;

подчинить территории;

централизовать ресурсы;

и построить новую форму большого государства.

То есть большевизм стал одновременно **средством остановки распада**.

Отсюда и возникает формула:

Большевизм был одновременно продолжением революционного распада и силой нового государственного собирания.

В этом заключается одна из причин, по которым историческую роль большевиков невозможно описать одной категорией — «разрушители» или «спасители».

Они участвовали в разрушении старого государства.

Они создали собственную диктатуру.

Они применяли масштабное политическое насилие.

Но они же построили новый центр власти, сформировали армию и восстановили единое государственное пространство на значительной части территории бывшей империи.

Именно поэтому моральная оценка большевизма не может завершиться ответом на вопрос, **спасли ли они государство**.

Не менее важен следующий вопрос:

ради чего это государство было восстановлено и каким обществом большевики собирались заменить разрушенный старый мир?

И здесь необходимо перейти от исторической функции большевизма к содержанию его идеалов.

Потому что если мы признаем, что большевики действительно сумели восстановить государственность, остается значительно более сложный вопрос:

были ли ошибочны сами цели, ради которых они собирались использовать восстановленную государственную силу, — или главная трагедия заключалась не в целях, а в способе и скорости их осуществления?

13. Были ли сами большевистские идеалы ложными?

До сих пор мы рассматривали большевизм прежде всего как политическую силу: как продукт революционного распада, как особый тип организации и, наконец, как силу, сумевшую создать новый государственный центр.

Но моральная оценка большевизма требует поставить еще один вопрос, который часто оказывается заслонен последующим террором, коллективизацией, репрессиями и политической диктатурой:

были ли ложными сами идеалы, ради которых большевики первоначально стремились преобразовать общество?

Этот вопрос существенно сложнее, чем может показаться.

Можно осуждать конкретные действия большевистского государства и одновременно признавать, что некоторые провозглашенные им цели сами по себе вовсе не являлись античеловеческими или исторически бесперспективными.

Более того, значительная часть этих целей в различных формах стала в течение XX века общим направлением развития обществ, которые никогда не были коммунистическими.

Именно поэтому недостаточно сказать:

«Большевистский проект был преступным, следовательно, ложными были и его идеалы».

История оказывается значительно противоречивее.

Социальная справедливость не была большевистским заблуждением

В основе большевистского мировоззрения находилась идея радикального преодоления социального неравенства.

В сословной и раннеиндустриальной России различия между человеком, родившимся крестьянином, рабочим, дворянином или представителем образованной элиты, определяли огромную часть его жизненных возможностей.

Большевизм утверждал, что подобный порядок не является естественным.

Происхождение человека не должно определять его доступ к образованию, культуре, медицине или общественной деятельности.

Сам по себе этот принцип трудно назвать исторической ошибкой.

В течение XX века именно идея **социального гражданства** — права человека не только на юридическое равенство, но и на образование, медицинскую помощь, социальное обеспечение и определенный уровень материальной защищенности — постепенно стала нормой большинства развитых обществ.

Исследования истории европейского социального государства показывают, что первая половина XX века была временем глубокого изменения самого представления об обязанностях государства перед гражданином, а после Второй мировой войны системы массового социального обеспечения получили широкое распространение в Западной Европе.

То есть большевики вовсе не были единственными, кто двигался в этом направлении.

Но они очень рано и чрезвычайно радикально поставили вопрос:

должны ли образование, медицина и социальная защищенность зависеть от имущественного положения человека?

Историческое развитие XX века во многом ответило на этот вопрос отрицательно — причем далеко за пределами социалистического мира.

Массовое образование

Особенно наглядно это проявилось в отношении образования.

Для большевиков школа была не просто инструментом обучения грамоте.

Она должна была разрушить воспроизводство старой социальной иерархии.

Уже в первых проектах Наркомпроса предполагалась единая светская школа, через которую дети разных социальных групп должны были получить возможность двигаться

от начального образования вплоть до высшего. Шейла Фицпатрик показывает, насколько принципиальным для ранней советской образовательной политики было стремление создать «единую лестницу» образования и открыть ее выходцам из рабочих и крестьянских семей.

В этом смысле советский проект действительно совершал социальную революцию.

Сын крестьянина должен был получить возможность стать инженером.

Дочь рабочего — врачом.

Рождение переставало рассматриваться как естественный предел социальной судьбы.

Разумеется, реальная советская система никогда полностью не устранила неравенство, а государственная политика доступа к образованию неоднократно менялась. Но сама идея массового образования и социальной мобильности оказалась вовсе не историческим тупиком.

Она стала одним из центральных направлений развития всего XX века.

Медицина как право, а не товар

То же самое относится к здравоохранению.

Советская система Семашко строилась на принципе государственного финансирования и всеобщей доступности медицинской помощи независимо от способности пациента заплатить за нее. Впоследствии эта модель имела серьезные недостатки: чрезмерную централизацию, слабость некоторых звеньев первичной помощи, количественный рост иногда в ущерб качеству.

Но ее фундаментальный принцип — **медицинская помощь как общественное право** — трудно считать исторической ошибкой.

В материалах Всемирной организации здравоохранения система Семашко характеризуется именно как система, построенная на универсальном доступе к помощи, бесплатной в момент обращения.

Причем характерно, что идея всеобщей доступности медицины развивалась одновременно и вне коммунистического мира. В Великобритании она впоследствии воплотилась в Национальной службе здравоохранения, а после Второй мировой войны широкое государственное участие в медицинском обеспечении стало нормой значительной части Европы.

Следовательно, спор между большевистской и западной моделями заключался далеко не всегда в самой цели.

Он все чаще касался **способа ее достижения и институциональной формы**.

Социальные гарантии

Аналогично развивалось социальное обеспечение.

Право человека на поддержку в старости, при болезни, инвалидности или потере трудоспособности постепенно переставало восприниматься как благотворительность.

Оно становилось социальным правом.

Но этот процесс также не был исключительно социалистическим.

Современное социальное государство вообще зародилось еще в XIX веке — прежде всего в бисмарковской Германии, — а затем системы социального страхования начали распространяться по Европе. В XX веке они последовательно расширяли охват населения и перечень предоставляемых гарантий.

Поэтому противопоставление:

капитализм = отсутствие социальной защиты,
социализм = социальные гарантии

исторически неверно.

Но большевики были частью более широкого исторического движения, в котором представление о социальной защите постепенно превращалось из частной помощи бедным в **обязанность общества перед каждым человеком**.

И здесь направление их движения совпадало с одной из важнейших тенденций XX века.

Равноправие женщин

Еще отчетливее этот момент виден в вопросе о положении женщин.

Раннее советское законодательство действительно было чрезвычайно радикальным для своего времени. Уже после революции были введены гражданский брак и относительно свободный развод, а Семейный кодекс 1918 года исходил из принципа юридического равенства мужчин и женщин. Исследователи отмечают, что большевистская политика в этой сфере резко разошлась с действовавшими тогда нормами не только Российской империи, но и многих западных государств.

Большевистская идея состояла не просто в формальном равноправии.

Женщина должна была получить доступ к труду, образованию, политике и профессиональной деятельности.

Позднее между декларациями и реальной жизнью возник огромный разрыв. Советская женщина нередко получила знаменитую «двойную нагрузку»: одновременно полную занятость и сохранение значительной части традиционной домашней работы.

Но сам принцип того, что пол не должен определять юридические, образовательные и профессиональные возможности человека, постепенно стал общепринятым и в несоциалистических обществах. Исследования социальной истории Европы показывают, что расширение женских прав стало частью более общего процесса формирования социального гражданства в XX веке как на Востоке, так и на Западе.

И снова мы сталкиваемся с тем же явлением:

большевики радикально формулировали проблему, которая впоследствии стала общей проблемой модерного общества.

Преодоление сословного общества

Большевики стремились уничтожить сословные барьеры.

Разумеется, происходило это чрезвычайно противоречиво.

Уничтожение старых привилегий очень быстро сопровождалось созданием новых форм политической дискриминации. Происхождение из «бывших», принадлежность к духовенству, предпринимательскому или дворянскому слою само могло превратиться уже в отрицательный социальный признак.

То есть борьба с одной системой наследуемых различий иногда порождала другую.

Но за этим нельзя потерять сам принцип:

общественное положение человека не должно определяться его рождением.

Этот принцип также оказался одним из фундаментальных принципов современного общества.

В этом смысле исторический конфликт XX века шел уже не столько вокруг вопроса, **должна ли существовать социальная мобильность**, сколько вокруг того, какими институтами ее обеспечивать.

Борьба с крайним имущественным неравенством

Сложнее вопрос собственности.

Большевики стремились значительно дальше, чем большинство европейских социал-демократов: в конечном счете речь шла не о регулировании капитализма, а о преодолении частной собственности на основные средства производства и уничтожении классового общества.

Именно здесь особенно важно не смешивать разные уровни большевистского проекта.

Нельзя сказать, что весь мир XX века в итоге подтвердил большевистскую модель собственности.

Этого не произошло.

Большинство развитых государств пошло по другому пути: сохранило частную собственность и рыночную экономику, одновременно введя прогрессивное налогообложение, социальное страхование, трудовые права и широкое государственное перераспределение.

Но сам вопрос, поставленный социалистическим движением, сохранился:

может ли общество считать нормальным неограниченный рост имущественного неравенства, если он приводит к радикально различным жизненным возможностям людей?

И на этот вопрос большинство европейских государств XX века также ответило развитием систем перераспределения и социального государства. В Западной Европе после Второй мировой войны именно расширение социальных гарантий и относительное сокращение некоторых классовых различий стали важнейшими характеристиками общественного развития.

Таким образом, большевистский ответ — практически полное обобществление собственности — не стал универсальным.

Но сама проблема социальной ограниченности неравенства оказалась вполне реальной.

Братство народов

Особого внимания требует национальный вопрос.

Большевистский идеал исходил из того, что национальная принадлежность не должна создавать политическую или социальную иерархию между людьми.

В идеальном коммунистическом будущем человек должен был перестать видеть в другом прежде всего представителя конкурирующей нации.

Отсюда возникла идея интернационализма и позднейшая формула **«дружбы народов»**.

Практическая национальная политика СССР была гораздо противоречивее этого идеала.

В 1920-е годы политика коренизации действительно поддерживала национальные языки, литературу, образование и подготовку местных административных кадров. Исследования раннего СССР показывают масштабность этого эксперимента: национальные языки вводились в школы и управление, создавались автономии, письменности, учебники, национальная пресса.

Советская федеративная модель сознательно пыталась соединить политическое единство большого государства с сохранением различных национальных идентичностей. В сравнительной историографии ранняя советская политика даже рассматривается как своеобразная альтернатива как ассимиляционному национальному государству, так и классической колониальной модели.

Но дальнейшая история СССР также знает принудительные переселения, депортации целых народов, периоды русификации, репрессии против национальных элит и жесткое подавление политического национализма.

Поэтому нельзя просто сказать:

«СССР осуществил братство народов».

Но столь же трудно отрицать, что сам идеал **наднационального общества, в котором культурное различие не должно означать политического неравенства**, содержал важный универсалистский элемент.

И в этом отношении советский проект поставил проблему, которая остается актуальной и сегодня:

как создать политическое единство, не требуя уничтожения культурных различий?

Значит ли это, что большевики были «правы»?

Здесь необходимо сделать принципиальную оговорку.

Социальные идеалы нельзя проверять так же, как научную теорию.

Невозможно экспериментально доказать, что «социальная справедливость истинна», подобно физическому закону.

Поэтому правильнее сказать не то, что большевики **доказанно были правы**, а другое:

многие поставленные ими цели оказались совместимы с долгосрочным направлением развития современного общества и впоследствии получили реализацию также в совершенно иных политических системах.

Массовое образование стало нормой.

Социальное страхование стало нормой.

Широкий доступ к медицине — одним из признаков современного государства.

Юридическое равенство мужчин и женщин — общепризнанным принципом.

Наследуемые сословные барьеры исчезли практически повсеместно.

Крайнее социальное неравенство стало рассматриваться как общественная проблема.

Равноправие народов превратилось в один из нормативных принципов международного порядка.

И ни для одного из этих процессов коммунистическая диктатура не оказалась необходимым условием.

Именно это чрезвычайно важно.

Запад пришел ко многим сходным целям другим путем

В течение XX века западноевропейские государства создали собственную модель социальной модернизации.

Не уничтожая рынок полностью, они ограничили его социальные последствия.

Не ликвидируя частную собственность, создали системы перераспределения.

Не уничтожая парламентскую демократию, построили масштабные системы социального обеспечения.

Не отменяя политическую конкуренцию, обеспечили массовое образование и здравоохранение.

OECD отмечает, что особенно интенсивный рост государственных социальных расходов в развитых странах пришелся на период между 1930-ми и 1980-ми годами; именно тогда западное социальное государство достигло своей зрелой формы.

Это имеет огромное значение для оценки большевизма.

Потому что показывает:

не обязательно ошибочна была цель — существовали другие способы идти к ней.

Социальную защиту можно было расширять без уничтожения политического плюрализма.

Образование — делать массовым без классового террора.

Неравенство — ограничивать налогообложением и социальным законодательством.

Положение женщин — менять гражданскими правами и развитием общественных институтов.

Национальное равноправие — искать через федерализм и культурную автономию.

Именно здесь вопрос о большевизме начинает перемещаться из области **целей** в область **методов и исторического времени**.

Возможно, главная ошибка заключалась не в направлении

Если убрать из большевистской программы представление о неизбежной мировой революции, уничтожении частной собственности как универсальном решении и диктатуре одного класса, останется набор социальных стремлений, многие из которых сегодня кажутся совершенно обычными:

человек не должен оставаться неграмотным потому, что родился бедным;

болезнь не должна означать отсутствие медицинской помощи;

старость не должна обрекать человека на нищету;

женщина не должна иметь меньше прав из-за пола;

происхождение не должно определять профессию и образование;

один народ не должен считаться по природе выше другого;

крайняя бедность рядом с огромным богатством является социальной проблемой.

Это не выглядит набором исторически абсурдных целей.

Наоборот, значительная часть XX века была историей движения именно в этом направлении — социалистическими, социал-демократическими, либеральными и христианско-демократическими путями.

И потому становится возможным сформулировать один из центральных тезисов всей статьи:

Историческая ошибка большевизма не обязательно состояла в самом направлении движения.

Она могла заключаться в другом.

Большевики были убеждены, что если направление истории известно, то нет необходимости ждать, пока общество пройдет весь долгий путь самостоятельно.

Если социализм является следующей исторической ступенью, зачем ждать несколько поколений?

Если необходимо преодолеть крестьянскую отсталость, зачем растягивать этот процесс на полвека?

Если социальное неравенство несправедливо, зачем десятилетиями ограничивать его, когда можно уничтожить его социальные основания сразу?

Если нужно создать нового человека, зачем ждать постепенного изменения культуры?

Именно здесь благородная социальная цель начинает превращаться в совершенно другой политический вопрос:

имеет ли кто-либо право ускорить наступление исторически желательного будущего?

Это и есть точка, в которой начинается собственная трагедия большевизма.

Проблема оказывается уже не только в том, **куда** двигаться.

Проблема — **с какой скоростью можно заставить общество двигаться туда и что делать с теми, кто не успевает или не хочет двигаться с этой скоростью**.

Именно поэтому следующим шагом необходимо рассмотреть центральную ошибку большевистского проекта — попытку **сжать историческое время**, превратив процессы, требующие десятилетий и поколений, в задачу нескольких лет.

14. Главная трагедия большевизма: попытка ускорить историческое время

Если многие социальные цели большевиков сами по себе нельзя считать исторически ложными, то возникает следующий вопрос: **где именно начинается специфическая ошибка большевистского проекта?**

Возможно, прежде всего — в отношении ко времени.

Большевики были убеждены не только в том, что знают направление общественного развития. Они считали, что это развитие можно **сознательно ускорить политической волей**.

Если капитализм исторически должен уступить место социализму, зачем ждать естественного завершения этого процесса?

Если крестьянская Россия должна стать индустриальной, зачем растягивать переход на несколько поколений?

Если классовые различия должны исчезнуть, зачем позволять старым социальным группам постепенно растворяться в новом обществе?

Если человек должен освободиться от религиозных, сословных и традиционных представлений, зачем ждать естественного изменения культуры?

Революция представлялась именно тем историческим инструментом, который позволяет сократить путь.

Отсюда возникает, возможно, центральная формула большевистской модернизации:

Большевики попытались заставить историческое время двигаться со скоростью революционной воли.

Война сжала время стихийно — большевики сделали сжатие времени программой

Мы уже видели, что Первая мировая война сама совершила с Россией нечто подобное.

Противоречия, которые могли разрешаться десятилетиями, война заставила переживать одновременно.

Политическая реформа, аграрный вопрос, индустриализация, национальные отношения, массовая мобилизация, социальный конфликт — всё это оказалось спрессовано в несколько лет.

Империя такой скорости не выдержала.

Но большевики сделали из этого совершенно иной вывод.

Они не стремились вернуть истории постепенность.

Напротив, опыт революции укреплял представление о том, что **историческое ускорение возможно**.

За несколько месяцев исчезла монархия, существовавшая столетиями.

За несколько дней можно было изменить форму собственности.

Декретом — отменить сословия.

Политическим решением — национализировать банки.

Революция показывала, что институты, казавшиеся вечными, могут исчезнуть почти мгновенно.

Отсюда было легко сделать следующий шаг:

если политический строй можно изменить за несколько дней, почему нельзя столь же быстро изменить общество?

Но именно здесь скрывалось фундаментальное заблуждение.

Институт можно отменить декретом. Общество нельзя переделать декретом.

Индустриализация как сознательное ускорение

Наиболее наглядно логика сжатого времени проявилась в индустриализации.

Россия и без революции двигалась в сторону индустриального общества. Этот процесс начался еще в конце XIX века и, вероятно, продолжался бы в той или иной форме при любом устойчивом государственном строе.

Но большевистское руководство не хотело ждать десятилетиями.

Первый пятилетний план рассчитывался на 1928–1932 годы и первоначально предполагал темпы роста промышленного производства около 20 процентов ежегодно — показатели, которые сами историки характеризуют как беспрецедентно амбициозные.

В результате государство концентрировало огромные ресурсы на тяжелой промышленности, строительстве, энергетике и машиностроении.

Результат действительно оказался впечатляющим.

Советский Союз за несколько десятилетий превратился из преимущественно аграрной страны в одну из крупнейших индустриальных держав. К 1965 году в промышленности и строительстве работало около 33 миллионов человек против примерно 5 миллионов в 1928 году; столь же радикально расширился слой специалистов с высшим образованием.

То есть ускорение было не фикцией.

Оно действительно позволяло получить результаты значительно быстрее.

Но вопрос состоял в цене.

Потому что ресурсы для форсированной индустриализации необходимо было откуда-то взять.

А крупнейшим источником ресурсов оставалась деревня.

Крестьянству не дали времени исчезнуть естественно

Переход от аграрного общества к индустриальному почти неизбежно сопровождается уменьшением доли сельского населения.

Люди постепенно переселяются в города.

Дети крестьян получают образование.

Возникают новые профессии.

Меняется структура собственности.

Развивается механизация.

Старый крестьянский уклад постепенно перестает быть основой общества.

Обычно такой процесс занимает поколения.

Большевики попытались осуществить его практически в течение одного десятилетия.

В конце 1929 года был взят курс на массовую коллективизацию. В дальнейшем около 25 миллионов крестьянских хозяйств были сведены примерно в четверть миллиона коллективных хозяйств.

Это было не просто изменение формы сельскохозяйственного производства.

Менялся весь образ жизни миллионов людей.

Семейное хозяйство.

Отношение к земле.

Механизм наследования.

Форма труда.

Отношения внутри деревни.

Связь человека с собственностью.

Государство пыталось изменить за несколько лет социальный уклад, формировавшийся столетиями.

И именно здесь ускорение почти неизбежно столкнулось с сопротивлением.

Крестьяне не воспринимали коллективизацию как естественный этап исторического прогресса. Исследования деревни показывают, что решение о массовой коллективизации вызвало резкое усиление конфликта; многие крестьяне воспринимали колхозную систему как новую форму зависимости.

Возникает принципиальный вопрос:

что делать революционной власти, если общество не движется в будущее с той скоростью, которую считает необходимой партия?

Ответ постепенно становился очевидным:

ускорять общество силой.

«Ликвидация кулачества» как уничтожение социальной категории административным решением

Именно здесь особенно ясно проявляется разница между постепенным социальным изменением и революционным ускорением.

В процессе обычной модернизации социальные группы могут постепенно исчезать.

Меняется экономика.

Меняются профессии.

Дети переходят в другие социальные слои.

Старые классовые структуры постепенно теряют значение.

Большевистский подход предполагал другое.

Если определенная социальная группа считается препятствием историческому развитию, ее можно **ликвидировать как класс**.

В 1929–1930 годах именно такая логика была применена к так называемому кулачеству.

Причем на практике категория «кулак» оказалась значительно менее определенной, чем предполагала теория. Исследования показывают, что к ней могли относить не только относительно зажиточных крестьян, но и людей, активно сопротивлявшихся заготовкам или коллективизации. Наказания включали конфискации, ограничения прав, выселение и депортации.

Получается чрезвычайно характерная формула революционного времени.

Вместо того чтобы ждать, пока социальная структура изменится в результате хозяйственного развития, государство решает:

эта социальная категория исторически обречена — следовательно, ее исчезновение можно ускорить административно.

Здесь исторический прогноз превращается в политический приговор.

Социальная мобильность тоже ускорялась

Но тот же механизм действовал не только разрушительно.

Одновременно происходил невероятно быстрый подъем новых социальных слоев.

Рабочие и выходцы из крестьянства массово направлялись в техникумы, рабочие факультеты, институты и систему управления.

Советская образовательная политика сознательно ставила задачу создать собственную рабоче-крестьянскую интеллигенцию взамен старой образованной элиты. Шейла

Фицпатрик показывает, насколько тесно образовательная политика первых пятилеток была связана с огромной социальной мобильностью: молодые рабочие и коммунисты направлялись в высшие учебные заведения, а затем стремительно занимали административные и профессиональные позиции.

И здесь снова мы видим ту же двойственность.

Ребенок рабочего действительно получал возможности, о которых его родители едва могли мечтать.

Но эта мобильность сопровождалась сознательным вытеснением людей, связанных со старой социальной структурой.

То есть общество не просто открывалось снизу.

Оно одновременно **перестраивалось сверху**.

Большевики не хотели ждать, пока новая элита естественно вырастет рядом со старой.

Они стремились быстро заменить одну социальной группой другой.

Даже образование должно было создать будущее раньше времени

В первые годы советской власти предполагалась единая образовательная система, которая должна была буквально воплотить модель будущего бесклассового общества.

Наркомпрос в 1918 году представлял школу как непрерывную лестницу от начального образования до университета, открытую всем детям на равных основаниях. В этой конструкции образование должно было не просто обучать людей, а **создавать социальную структуру будущего**.

И это очень показательно.

Школа переставала быть только институтом передачи знаний.

Она становилась инструментом исторического преобразования человека.

Отсюда происходит следующий шаг большевистского проекта — идея формирования **нового человека**.

Историческое ускорение должно было изменить не только институты, но и самого человека

Любая революция сталкивается с проблемой.

Можно изменить законы.

Можно переделить собственность.

Можно изменить государственные институты.

Но люди остаются теми же.

Они продолжают жить привычками, представлениями, религиозными верованиями, семейными отношениями и моральными нормами, которые сформировались в прежнем обществе.

Для большевистского проекта это становилось серьезнейшей проблемой.

Как построить социалистическое общество из людей, воспитанных капитализмом, крестьянской традицией и религией?

Ответ заключался в создании **нового советского человека**.

Историки советской культуры прямо отмечают, что большевистский проект претендовал на создание не только нового государства и новой армии, но даже нового человеческого типа.

Особенно интенсивно эта культурная революция разворачивалась примерно с 1928 по 1932 год. Она затронула образование, науку, искусство, литературу и профессиональные сообщества; старые культурные элиты подвергались давлению как носители ценностей прежнего общества.

И опять перед нами все та же структура.

В обычном историческом развитии культурные установки меняются поколениями.

Большевистская революция хотела получить человека будущего **уже сейчас**.

Но человека невозможно ускорить так же, как строительство завода

Можно принять пятилетний промышленный план.

Можно установить количество заводов, которые необходимо построить.

Можно определить объем выплавки стали.

Но невозможно аналогичным образом запланировать:

сколько лет потребуется человеку, чтобы изменить религиозное сознание;

за сколько поколений исчезнет крестьянская психология;

когда национальная идентичность уступит место наднациональной;

в какой момент человек перестанет воспринимать собственность как продолжение собственной автономии;

когда новая мораль станет внутренним убеждением, а не внешним требованием государства.

Именно здесь обнаруживается предел революционной воли.

Техническое развитие можно ускорить значительно сильнее, чем внутреннее развитие человека.

Можно построить завод за три года.

Но нельзя за три года создать общество людей, психологически соответствующих этому заводу, новой форме собственности и новой политической системе.

В результате возникает разрыв:

институты уже объявлены социалистическими, а человек остается исторически прежним.

И чем больше этот разрыв, тем сильнее соблазн объяснить его не невозможностью ускорения, а сопротивлением самого человека.

Национальный вопрос: от многообразия к будущей общности

Подобная логика существовала и в национальной политике, хотя здесь она была значительно сложнее.

В 1920-е годы большевики вовсе не стремились немедленно уничтожить национальные различия. Напротив, политика коренизации поддерживала национальные языки, национальные административные кадры и территориальные автономии.

Но конечная логика проекта оставалась интернационалистской.

Предполагалось, что модернизация, индустриализация и включение разных народов в общую социалистическую экономику постепенно приведут к ослаблению национальных противоречий и формированию более широкой советской идентичности. Исследования национальной политики показывают, что одновременно решались три задачи: сохранение политической монополии партии, интеграция нерусских окраин и создание современной индустриальной социалистической экономики; ожидалось, что модернизация будет способствовать переходу от национальной к более общей классовой и советской идентичности.

Само стремление к наднациональному единству не обязательно было ошибочным.

Проблема возникала тогда, когда историческая сложность национальных идентичностей недооценивалась.

Национальная память, язык и культура не исчезают автоматически потому, что создано общее экономическое пространство.

Как и во всех остальных областях, человеческая идентичность менялась значительно медленнее, чем предполагал политический проект.

Вся страна превращается в гигантский проект ускоренной модернизации

К концу 1920-х годов эти отдельные процессы начинают складываться в единую систему.

Одновременно необходимо было:

индустриализировать экономику;

коллективизировать сельское хозяйство;

создать новый рабочий класс;

подготовить новую техническую интеллигенцию;

изменить образование;

перестроить культуру;

ослабить влияние религии;

изменить положение женщин;

создать новые формы национальных отношений;

и сформировать человека, способного жить в новом обществе.

Историк Р. У. Дэвис характеризовал межвоенную советскую политику именно как беспрецедентную попытку посредством государственной и партийной власти создать радикально новый социальный и экономический порядок.

То есть речь шла уже не о нескольких реформах.

Объектом реформы становилось общество целиком.

И именно это отличает большевистскую модернизацию от обычной политики реформ.

Реформатор меняет отдельные институты и наблюдает последствия.

Революционный проект стремится изменить одновременно саму систему координат, в которой существуют эти институты.

В этом состояла огромная сила большевизма

Важно не потерять и эту сторону.

Историческое ускорение действительно давало результаты.

Быстро строились предприятия.

Миллионы людей переселялись в города.

Создавалась новая техническая интеллигенция.

Расширялось образование.

Менялась социальная структура.

Люди из самых низких слоев общества получали реальные возможности стремительного социального подъема.

Именно поэтому объяснять большевистский проект только насилием невозможно.

Он был способен породить мощнейшее ощущение движения.

Человек мог видеть, как на месте пустыря возникает завод.

Как крестьянин становится инженером.

Как девушка из провинциальной деревни получает высшее образование.

Как вчерашний рабочий становится директором.

Как страна, еще недавно воспринимавшаяся как отсталая, превращается в индустриальную державу.

В этой реальности идея исторического ускорения получала собственное подтверждение.

Казалось:

революционная воля действительно способна победить время.

Но именно здесь находилась и трагедия

Потому что историческое время не состоит только из заводов, километров железных дорог и количества студентов.

Оно включает человеческую адаптацию.

Культурную память.

Формирование доверия.

Изменение норм поведения.

Постепенное возникновение новых институтов.

Передачу опыта между поколениями.

Все это невозможно сжать в той же степени, что производственный план.

Советская индустриализация действительно смогла радикально изменить экономику, но ее чрезвычайная скорость породила тяжелые социальные издержки. Исследования отмечают, что форсированный темп промышленного роста создавал хронический дефицит рабочей силы и огромные нарушения нормального развития городов и производственных структур; коллективизация одновременно вытолкнула миллионы людей из деревни в новый промышленный пролетариат.

То есть ускорение порождало новые проблемы быстрее, чем общество успевало приспосабливаться к решению старых.

Революционная воля сталкивается с человеческой инерцией

И здесь возникает основной конфликт большевистской модернизации.

Если политическая власть убеждена, что знает правильное направление истории, а общество не способно двигаться с необходимой скоростью, существует два возможных решения.

Первое:

признать ограниченность политической воли и снизить темп преобразований.

Второе:

сделать само сопротивление общества объектом преодоления.

Большевистская система слишком часто выбирала второй вариант.

Именно поэтому проблема скорости постепенно превращалась в проблему принуждения.

Крестьянин не хочет вступать в колхоз — необходимо усилить давление.

Специалист не принимает революционную культуру — необходимо заменить его новым кадром.

Религиозное сознание сохраняется — необходимо усилить антирелигиозную кампанию.

Производство не выполняет план — необходимо искать виновного.

Общество не соответствует проекту — необходимо переделывать общество быстрее.

Возникает самоподдерживающаяся логика:

чем сильнее реальность отстает от проекта, тем больше требуется политической воли, чтобы это отставание преодолеть.

Большевистская трагедия была трагедией времени

Именно поэтому проблема большевизма не сводится к простой формуле «хорошие цели — плохие средства».

Связь между целью и средством была глубже.

Сам способ постановки цели уже содержал потенциальное насилие, потому что предполагал **срок**, в течение которого общество должно было соответствовать исторической программе.

Если цель состоит в том, чтобы за несколько поколений создать массовое образование, можно строить школы и ждать, пока меняется общество.

Если та же задача должна быть решена немедленно, государство неизбежно начинает мобилизовывать ресурсы и людей.

Если крестьянская Россия должна естественно индустриализироваться в течение полувека — один набор методов.

Если социалистическая индустриальная держава должна возникнуть за десять лет — совершенно другой.

Отсюда вытекает центральная мысль:

чем сильнее сокращается срок достижения исторической цели, тем больше роль добровольного изменения заменяется принуждением.

И поэтому главная трагедия большевизма, возможно, заключалась не только в том, что он ошибочно понимал некоторые стороны будущего.

Она состояла в убеждении, что **будущее имеет право требовать от настоящего немедленного подчинения**.

Большевики попытались заставить историческое время двигаться со скоростью революционной воли.

И некоторое время действительно казалось, что это возможно.

Но разрыв между скоростью политического проекта и скоростью человеческой жизни неизбежно порождал сопротивление.

А дальше возникал вопрос, от ответа на который зависела вся нравственная природа нового государства:

что делать с человеком, который не хочет или просто не способен жить со скоростью революционного проекта?

Именно здесь ошибка исторического темпа непосредственно превращается в проблему политического насилия.

Следующий шаг поэтому необходимо сделать от **ускорения** к **принуждению**: понять, почему попытка насильственно приблизить будущее почти неизбежно превращала несогласие человека с темпом преобразований в сопротивление самой истории.

15. Почему ускорение рождает принуждение

Попытка ускорить историческое время сама по себе еще не объясняет большевистского насилия.

Любое государство стремится ускорять определенные процессы. Оно может быстрее строить школы, проводить железные дороги, развивать промышленность, вводить социальное страхование или расширять медицинскую помощь.

Проблема возникает тогда, когда власть пытается ускорить не только строительство институтов, но и **изменение самого общества и человека**.

Можно за один день принять новый закон.

Но невозможно за один день изменить отношение крестьянина к земле.

Нельзя декретом отменить религиозную веру.

Нельзя административным распоряжением создать новую национальную идентичность.

Невозможно за несколько лет изменить семейные традиции, хозяйственные привычки и нравственные представления, которые формировались поколениями.

Общество обладает собственной исторической скоростью.

Именно здесь революционный проект начинает сталкиваться с человеческой реальностью.

Закон можно изменить быстрее, чем человека

Большевистская революция создала своеобразную иллюзию всемогущества политической воли.

Оказалось, что институты, существовавшие столетиями, действительно можно уничтожить чрезвычайно быстро.

Монархия исчезла.

Сословия были отменены.

Земельная собственность радикально преобразована.

Банки национализированы.

Возникло новое государство.

Из этого легко было сделать вывод, что столь же быстро можно изменить и общество.

Но между институтом и человеком существует принципиальная разница.

Государство может объявить частное крестьянское хозяйство исторически устаревшим.

Однако крестьянин продолжает воспринимать землю как результат труда своей семьи.

Можно объявить религию пережитком прошлого.

Но верующий не перестает верить потому, что изменилось законодательство.

Можно провозгласить возникновение нового наднационального общества.

Но человек продолжает говорить на своем языке, помнить историю своего народа и воспринимать себя частью определенной культуры.

То есть политическое время может двигаться чрезвычайно быстро.

Антропологическое время движется значительно медленнее.

И именно разрыв между ними становится источником напряжения.

Что делать, если общество не успевает за проектом?

Перед любой властью, проводящей быстрые преобразования, рано или поздно возникает выбор.

Если общество сопротивляется реформе, можно сделать вывод:

мы движемся слишком быстро — необходимо снизить темп, изменить методы или пересмотреть сам проект.

Но возможен и другой вывод:

проект правилен, а сопротивление общества является препятствием, которое необходимо преодолеть.

Большевизм слишком часто выбирал второй вариант.

Именно поэтому ускорение постепенно превращалось в принуждение.

Наиболее ярко этот механизм проявился в коллективизации.

К концу 1920-х годов руководство решило радикально изменить саму структуру сельского хозяйства. Но миллионы крестьян не хотели добровольно отказываться от индивидуального хозяйства.

Возникло сопротивление.

Власть могла замедлить преобразования.

Но массовая коллективизация рассматривалась уже как необходимая часть общего курса ускоренной индустриализации.

В результате сопротивление стало интерпретироваться прежде всего как **классовая борьба**. Шейла Фицпатрик показывает, что после введения принудительных хлебозаготовок в 1928 году отношения государства и деревни быстро перешли в состояние конфронтации, а массовая коллективизация резко усилила насилие с обеих сторон. Крестьян, сопротивлявшихся заготовкам и коллективизации, могли объявлять «кулаками» и «классовыми врагами».

Само несогласие все меньше воспринималось как возможный сигнал о неправильной скорости преобразований.

Оно превращалось в доказательство существования **врага преобразований**.

И это принципиальный момент.

Когда отставание от плана превращается в сопротивление истории

Если государство считает свой проект одним из возможных вариантов развития, сопротивление может заставить его изменить программу.

Но если проект считается выражением объективной исторической необходимости, ситуация становится иной.

Крестьянин, не желающий вступать в колхоз, тогда выглядит уже не просто человеком с другими хозяйственными интересами.

Он оказывается человеком, мешающим переходу от прошлого к будущему.

Таким образом, социальный конфликт получает историческую интерпретацию:

старое сопротивляется новому;
отсталость сопротивляется прогрессу;
частный интерес сопротивляется интересам общества.

И тогда давление на человека начинает выглядеть не как насилие над ним, а как устранение препятствия с пути истории.

Именно в этом заключается одна из наиболее опасных особенностей революционного ускорения.

Насилие перестает восприниматься как отказ общества принять проект.

Оно начинает восприниматься как средство **помочь истории осуществить то, что она все равно должна осуществить**.

Коллективизация показывает этот механизм почти в чистом виде

Исследования кампании 1929–1930 годов особенно хорошо показывают, насколько стремительным становилось само повышение требований.

Историк Линн Виола характеризует этот процесс как своего рода «телологическое планирование»: показатели постоянно пересматривались вверх по мере прохождения директив через административную систему, а революционный импульс часто опережал законность и организованное управление.

Здесь очень хорошо видна связь скорости и принуждения.

Чем короче становился срок коллективизации, тем меньше оставалось пространства для:

убеждения;

экономических стимулов;

добровольного выбора;

постепенной адаптации.

Если переход должен состояться через двадцать лет, государство может ждать изменения поколений.

Если через пять лет — необходимо стимулировать.

Если через несколько месяцев — остается все больше административного давления.

Поэтому можно сформулировать общую закономерность:

чем сильнее политическая власть сокращает время, отведенное обществу на изменение, тем меньше остается пространства для добровольности.

То же происходило не только с крестьянами

Ускоренная индустриализация также требовала от людей гораздо более быстрого изменения поведения, чем происходило бы естественным путем.

Рабочие должны были осваивать новые профессии, выполнять растущие нормы, принимать новую производственную дисциплину и одновременно переживать снижение уровня потребления, дефицит жилья и продовольственные трудности. Исследования конца 1920-х годов фиксируют рост социальных напряжений среди рабочих именно на фоне ускорения индустриализации и последующего ужесточения трудовой дисциплины.

Возникает тот же механизм.

Если общество не соответствует темпам плана, можно снизить план.

Но если снижение плана воспринимается как отказ от социалистического строительства, проблема переносится на людей.

Они недостаточно дисциплинированы.

Недостаточно сознательны.

Недостаточно производительны.

И тогда экономическая проблема постепенно получает нравственное и политическое объяснение.

Нельзя административно отменить религию

Еще нагляднее пределы ускорения обнаружились в борьбе с религией.

Марксистская теория предполагала, что религия является продуктом определенных социальных условий и постепенно исчезнет вместе с их преобразованием.

Но политическая практика все чаще пыталась ускорить и этот процесс.

В 1930-е годы государственная антирелигиозная политика приобрела характер систематического давления и преследований. При этом исследования школьной антирелигиозной политики показывают, что попытки изменить религиозное сознание сверху постоянно наталкивались на сопротивление учителей, родителей и самих учащихся.

И это чрезвычайно показательно.

Можно закрыть церковь.

Можно запретить религиозную организацию.

Можно изменить школьную программу.

Но невозможно административно отменить **внутреннее убеждение человека**.

Чем сильнее государство стремится ускорить такой процесс, тем больше ему приходится воздействовать уже не на институты, а непосредственно на человеческую свободу.

Национальную идентичность тоже невозможно ликвидировать по графику

Национальная политика СССР была значительно сложнее простой русификации или подавления национальностей.

В 1920-е годы государство, напротив, активно создавало национальные республики, поддерживало местные языки и формировало национальные административные кадры.

Однако одновременно существовало ожидание, что социалистическая модернизация со временем будет преодолевать национальную замкнутость и создавать более широкую советскую общность. Исследователи отмечают, что промышленное развитие нерусских республик сознательно связывалось с ожиданием их модернизации, пролетаризации и большей интеграции в советскую систему.

Но национальная идентичность тоже обладает собственной исторической скоростью.

Человек может одновременно быть советским гражданином, украинцем, грузином, татарином или армянином.

Эти уровни идентичности не исчезают автоматически с созданием общей экономики.

Сам советский строй в итоге даже институционализировал национальность: национально-территориальный принцип стал одной из основ федеративного устройства СССР.

То есть и здесь жизнь оказалась сложнее первоначальной идеи быстрого преодоления старых различий.

Принуждение возникает в точке расхождения плана и жизни

Таким образом, принуждение не было просто следствием жестокости отдельных руководителей.

Это не означает, что оно было абсолютно неизбежно.

Но сама структура ускоренного революционного проекта создавала для него чрезвычайно благоприятные условия.

Существовал заранее определенный образ будущего.

Существовал срок его достижения.

Существовал централизованный политический аппарат.

А затем обнаруживалось общество, которое двигалось медленнее.

И тогда возникал вопрос:

кто должен уступить — проект или человек?

Если уступает проект, происходит корректировка курса.

Если должен уступить человек, появляется принуждение.

Большевизм слишком часто исходил из того, что **будущее не должно уступать настоящему**.

Значит, настоящее необходимо изменить.

В этом и заключается связь ускорения и насилия

Можно сформулировать ее следующим образом:

Принуждение становилось способом преодолеть разрыв между скоростью исторической программы и реальной скоростью человеческой жизни.

Если крестьянин не успевает стать коллективным земледельцем — его заставляют.

Если рабочий не соответствует требуемому производственному темпу — усиливают дисциплину.

Если религиозное сознание не исчезает — усиливают антирелигиозное давление.

Если социальная группа считается исторически устаревшей — ее ликвидируют административно.

Если общество не соответствует проекту — давление постепенно переносится с изменения институтов на изменение самого человека.

И именно здесь революционное ускорение приобретает собственную моральную проблематику.

Насилие оказывается уже не случайным нарушением идеала.

Оно начинает вытекать из **нетерпения по отношению к историческому времени**.

Но здесь остается еще один вопрос

Почему власть не могла просто признать:

мы ошиблись в сроках?

Почему сопротивление общества столь часто объяснялось не чрезмерностью самой программы, а деятельностью кулаков, саботажников, контрреволюционеров, буржуазных националистов и иных противников?

Одной скорости для ответа недостаточно.

Необходим еще один элемент.

Большевистское руководство должно было быть убеждено не просто в желательности своего проекта, но в его **исторической истинности**.

Если направление развития может быть ошибочным, сопротивление общества заставляет задуматься.

Но если направление истории известно научно, сопротивление уже не опровергает проект.

Оно лишь показывает, насколько сильны силы прошлого.

И поэтому следующая проблема становится еще глубже:

ускорение превращается в систематическое принуждение тогда, когда соединяется с убеждением в собственной исторической непогрешимости.

Именно эту вторую ошибку большевизма — уверенность в том, что партия знает конечный пункт истории, — необходимо рассмотреть далее.

16. Вторая большевистская ошибка: уверенность в знании конечного пункта истории

Само по себе стремление ускорить общественное развитие еще не обязательно приводит к диктатуре.

Государство может поставить слишком амбициозную цель, столкнуться с сопротивлением реальности и отступить. Оно может изменить сроки, пересмотреть методы или вообще признать ошибочность первоначального проекта.

По-настоящему опасным ускорение становится тогда, когда соединяется с другим убеждением:

мы не просто хотим определенного будущего — мы знаем, что именно это будущее исторически необходимо.

Именно здесь находится вторая фундаментальная проблема большевизма.

Большевики воспринимали марксизм не как одну из возможных социальных философий, а как научное понимание исторического процесса. Ленин прямо говорил о научной правильности марксистской позиции и в 1917 году утверждал, что социализм должен закономерно перейти в коммунизм.

Это не означало наличия подробного чертежа будущего общества. Марксизм никогда не содержал точного расписания истории.

Но предполагалось, что **общее направление движения известно**.

Капитализм является исторически преходящим.

Классовое общество должно быть преодолено.

Социализм является следующей ступенью.

За ним должен последовать коммунизм.

Пролетариат является социальным носителем этого исторического перехода.

А партия — его сознательным авангардом.

Именно это соединение исторической теории и партийной организации создавало совершенно новую ситуацию.

От знания истории — к праву говорить от ее имени

В обычной политике партия утверждает:

Мы считаем нашу программу лучшей.

Следовательно, она хотя бы теоретически должна допускать возможность того, что общество выберет другую программу.

Большевистская логика была иной.

Если марксизм действительно открыл объективные законы исторического развития, то социализм является не просто предпочтительным вариантом общественного устройства.

Он представляет собой **следующую историческую ступень**.

Тогда партия, вооруженная научной теорией этого развития, оказывается уже не просто одной политической силой среди других.

Она становится носителем знания о будущем.

Именно здесь огромное значение приобретает ленинская теория авангарда.

В «Что делать?» Ленин исходил из того, что рабочее движение само по себе способно породить лишь ограниченное, тред-юнионистское сознание и что революционная социалистическая теория должна быть внесена в рабочее движение организованной социал-демократией.

Отсюда постепенно складывается цепочка:

история имеет объективное направление;
марксизм знает это направление;
партия обладает марксистским знанием;
следовательно, партия способна выражать объективный интерес исторического развития даже тогда, когда значительная часть общества этого интереса еще не осознает.

Именно последний шаг оказывается решающим.

Потому что тогда политическое меньшинство может считать себя исторически более правым, чем эмпирическое большинство.

Большинство может ошибаться — история нет

Так возникает чрезвычайно своеобразное отношение к демократии.

Если задача политики состоит только в выяснении желаний большинства, достаточно выборов.

Но если большинство само может находиться в плену ложного сознания, традиции, религии, мелкобуржуазных интересов или национализма, его текущее мнение уже не обязательно выражает его собственный **объективный исторический интерес**.

Возникает возможность сказать человеку:

Ты сам еще не понимаешь, что необходимо для твоего освобождения.

В такой системе координат партия может оказаться политическим меньшинством и одновременно считать себя выразителем более глубокой исторической истины.

Исследователи советской политической системы давно обращали внимание именно на эту сторону ленинской концепции: партия должна была направлять стихийное движение масс в соответствии с «научными принципами» доктрины, а простое численное большинство само по себе не считалось достаточным критерием правильности политического решения.

Именно здесь возникает возможность принципиального разрыва между **волей общества** и **тем, что партия считает объективным интересом общества**.

Что происходит, когда жизнь противоречит теории?

Пока исторический проект развивается успешно, эта проблема может оставаться незаметной.

Но рано или поздно реальность начинает сопротивляться.

Крестьяне не хотят коллективизации.

Рабочие недовольны условиями труда.

Другие социалисты предлагают иной путь к социализму.

Национальные движения не хотят растворяться в предполагаемой наднациональной общности.

Религия не исчезает.

Экономические результаты оказываются хуже запланированных.

В обычной исследовательской логике несоответствие между прогнозом и реальностью заставляет пересматривать теорию.

Но если теория считается выражением объективных законов истории, появляется другое объяснение:

дело не в ошибочности проекта — делу мешают силы прошлого.

И вот здесь возникает одна из важнейших интеллектуальных особенностей большевистской системы.

Несоответствие жизни проекту начинает восприниматься не как возможная ошибка проекта, а как дефект самой жизни.

Реальность должна быть исправлена.

Крестьянин превращается в социальную категорию

Особенно хорошо этот механизм виден в отношении крестьянства.

Конкретный человек может не хотеть вступать в колхоз по совершенно понятным причинам.

Он привык вести самостоятельное хозяйство.

Он ценит собственность.

Он не доверяет государству.

Он считает коллективное хозяйство неэффективным.

С точки зрения самого крестьянина это может быть рациональный хозяйственный выбор.

Но в исторической схеме он получает иной смысл.

Если индивидуальное крестьянское хозяйство относится к прошлому, а коллективное производство — к социалистическому будущему, сопротивление крестьянина оказывается уже не просто хозяйственным разногласием.

Оно становится сопротивлением **историческому переходу**.

И тогда конкретный Иван Петров перестает быть только Иваном Петровым.

Он превращается в:

кулака;
подкулачника;
носителя мелкобуржуазной стихии;
классово чуждый элемент.

Человек начинает восприниматься через его предполагаемую функцию в историческом процессе.

Это чрезвычайно важная подмена.

Потому что уничтожить конкретного человека нравственно трудно.

«Ликвидировать кулачество как класс» психологически значительно проще.

Политический противник становится контрреволюционером

То же самое происходит в политике.

В обычном плюралистическом обществе политический противник — человек, который иначе понимает общественное благо.

Он может ошибаться.

Но он остается легитимным участником политики.

В революционной исторической логике возникает совершенно иная категория:

контрреволюционер.

Это уже не просто человек, не согласный с текущим правительством.

Само понятие указывает на его место относительно исторического движения.

Революция движется вперед.

Контрреволюция пытается повернуть историю назад.

Следовательно, борьба с политическим противником становится не спором двух возможных программ, а **защитой исторического прогресса от реставрации прошлого**.

Это радикально меняет нравственную структуру политики.

Потому что право противника на существование становится условным.

Если его деятельность является лишь иной точкой зрения — с ним можно спорить.

Если она представляет угрозу самому историческому прогрессу — его необходимо обезвредить.

Даже другой социалист может стать «уклонистом»

Еще показательнее отношение к разногласиям внутри самого революционного движения.

Социалисты спорили между собой задолго до 1917 года.

Большевики, меньшевики, эсеры, левые эсеры, анархисты предлагали совершенно различные представления о революции.

Но после установления большевистской власти постепенно меняется сам статус такого разногласия.

Если существует единственный научно обоснованный путь перехода к социализму, то несогласие внутри партии все легче превращается из обычного политического различия в **отклонение от правильной линии**.

Отсюда характерный язык:

левый уклон;
правый уклон;
оппортунизм;
ревизионизм;
фракционность.

Политическая дискуссия начинает напоминать спор об отклонении от правильно установленного курса.

Это важно именно потому, что язык отражает структуру мышления.

Слово «уклон» предполагает, что существует **прямая линия**.

Если направление заранее неизвестно, можно говорить о различных программах.

Если правильное направление уже определено, остается лишь измерять отклонение от него.

Национальное движение становится «буржуазным национализмом»

Тот же механизм постепенно проявлялся и в национальном вопросе.

Советская национальная политика была сложной и далеко не сводилась к подавлению национальных культур. В 1920-е годы коренизация, наоборот, активно поддерживала языки и национальные кадры.

Но политическая самостоятельность национального движения имела жесткие пределы.

Как только национальные требования начинали противоречить партийной модели советского единства, их можно было классифицировать уже не просто как иной взгляд на отношения центра и республики, а как **националистическое отклонение**.

Позднее термин «буржуазный национализм» превратился в одну из устойчивых категорий советского политического языка и применялся к реальным или предполагаемым противникам режима среди нерусских национальных движений.

И вновь различие приобретает исторический характер.

Человек оказывается не просто украинским, грузинским или татарским политиком с иным представлением о национальных интересах.

Он становится представителем исторически отсталого национализма, препятствующего будущему интернациональному обществу.

Категория врага получает философское основание

Именно здесь особенно важно понять, что большевистский язык врага нельзя объяснить одной политической жестокостью.

За ним стояла определенная философия истории.

Если общество представляет собой борьбу исторически восходящих и исторически уходящих классов, то конфликт перестает быть случайностью.

Он становится закономерностью.

Старый мир не исчезает добровольно.

Следовательно, он сопротивляется.

Значит, существование сопротивления не опровергает революционный проект.

Наоборот — оно его подтверждает.

Это чрезвычайно опасная логическая конструкция.

Если коллективизация проходит спокойно — значит, крестьяне понимают историческую необходимость социализма.

Если возникает сопротивление — значит, классовый враг пытается сорвать социалистическое строительство.

В обоих случаях исходная теория сохраняется.

Так система постепенно приобретает черты **неопровержимости**.

Любой результат может быть встроен в исходную картину мира.

Теория перестает учиться у реальности

И здесь возникает прямое сходство с проблемой догматического знания вообще.

Научная теория должна допускать возможность ошибки.

Если наблюдения систематически ей противоречат, необходимо пересмотреть хотя бы часть исходных предпосылок.

Но политическая теория, превращенная в государственную ортодоксию, оказывается в совершенно ином положении.

Признать ошибочность фундаментальной теории означает поставить под сомнение:

легитимность партии;

правильность революции;

направление экономической политики;

само право руководства говорить от имени исторического прогресса.

Поэтому цена признания ошибки становится чрезвычайно высокой.

Гораздо легче признать ошибку отдельного исполнителя.

Или вредительство.

Или саботаж.

Или уклон.

Или недостаточную сознательность масс.

Проект остается правильным.

Меняются только объяснения того, почему реальность пока ему не соответствует.

В результате возникает фундаментальное смещение:

теория перестает проверяться жизнью — жизнь начинает проверяться на соответствие теории.

Но здесь необходимо различить Маркса, Ленина и позднейшую советскую ортодоксию

Было бы слишком просто провести прямую линию от нескольких текстов Маркса к сталинским репрессиям.

Такого автоматизма не существовало.

Сам марксизм содержал мощную критическую традицию.

Ленин также неоднократно менял политическую тактику под давлением обстоятельств. НЭП является наиболее очевидным примером способности отказаться от прежней хозяйственной практики, когда она привела к глубокому кризису.

Более того, сам Ленин предостерегал от превращения отдельных организационных решений в универсальный догмат и позднее указывал, что идеи «Что делать?» следует понимать в конкретных условиях подпольной борьбы начала века.

Поэтому проблема заключалась не в том, что каждый большевик с самого начала обладал полностью завершенной догматической системой.

Процесс был историческим.

Но в самой конструкции существовала потенциальная опасность:

партия обладает научной теорией истории;
партия является авангардом исторически прогрессивного класса;
следовательно, ее политическое руководство получает особую претензию на историческую истину.

По мере исчезновения политической конкуренции эта претензия становилась все менее проверяемой извне.

Именно тогда теория все легче могла превращаться в догму.

Ошибка могла быть признана — но не ошибка направления

В советской системе ошибки признавались постоянно.

Ошибались отдельные руководители.

Ошибались местные органы.

Возникали перегибы.

Допускались бюрократические извращения.

Не выполнялся план.

Нарушалась партийная линия.

Но значительно труднее было поставить вопрос:

а что, если ошибочна сама линия?

Именно здесь находится принципиальное различие.

Система допускала множество **локальных ошибок**, но чрезвычайно плохо приспосабливалась к признанию возможной ошибочности фундаментального исторического проекта.

В этом отношении особенно показательна сама категория «перегибов».

Она позволяет сказать:

цель правильна;
метод правильный в основе;
проблема лишь в чрезмерности исполнения.

Такая конструкция способна корректировать отдельные действия, сохраняя неприкосновенным исходное направление.

Иногда это действительно соответствовало действительности.

Но иногда превращалось в способ защитить теорию от слишком серьезного столкновения с результатами собственной политики.

Именно здесь ускорение становится особенно опасным

Теперь можно соединить два предыдущих раздела.

Первая ошибка большевизма:

историю можно значительно ускорить.

Вторая:

мы знаем, в какую сторону ее необходимо ускорять.

Каждая из этих идей сама по себе еще не обязательно приводит к массовому принуждению.

Но их соединение создает чрезвычайно опасную систему.

Если направление неизвестно, слишком быстрые реформы можно остановить.

Если направление считается истинным, а сроки — необходимыми, сопротивление начинает объясняться уже не ошибкой политики.

Оно объясняется сопротивлением прогрессу.

Получается последовательность:

мы знаем будущее →
мы знаем путь к нему →
партия организует этот путь →
общество должно двигаться вслед за партией →
сопротивление обществом курса означает сопротивление историческому развитию.

Именно в этой точке революционная идея освобождения способна превратиться в право на принуждение.

Жизнь начинает проигрывать будущему

Это, возможно, самый глубокий моральный парадокс большевизма.

В основе проекта находилась идея освобождения человека.

Но конкретный сегодняшний человек мог оказаться препятствием на пути к освобождению будущего человека.

Крестьянин не хотел того социалистического сельского хозяйства, которое должно было освободить будущие поколения крестьян.

Верующий не хотел освобождения от религии.

Политический противник не хотел той формы общественного устройства, которую партия считала освобождением общества.

Национальное движение могло отвергать именно тот интернационализм, который должен был уничтожить национальное угнетение.

И тогда возникал страшный выбор:

что важнее — свобода существующего человека или свобода будущего человечества?

Большевистская логика слишком часто отдавала приоритет будущему.

Сегодняшнего человека можно принудить ради человека завтрашнего.

Настоящее приносится в жертву будущему.

Именно здесь идея прогресса получает свою наиболее опасную форму.

Ошибка заключалась не в мечте о будущем, а в монополии на его знание

Само стремление к лучшему обществу не является проблемой.

Без представления о том, каким должно стать общество, невозможно никакое социальное преобразование.

Проблема возникает тогда, когда одна политическая сила присваивает себе исключительное право утверждать:

мы не просто предлагаем будущее — мы знаем его.

Потому что тогда исчезает важнейшее нравственное ограничение любой политики:

возможность собственной ошибки.

Если я могу ошибаться, мой противник может оказаться прав.

Следовательно, я должен оставить ему возможность говорить, критиковать и предлагать альтернативу.

Если же моя теория выражает объективную историческую необходимость, политический противник постепенно теряет этот статус.

Он превращается в человека, мешающего истории осуществить саму себя.

И отсюда возникает одна из центральных формул нашего исследования:

Несоответствие жизни проекту воспринимается уже не как возможная ошибка проекта, а как дефект самой жизни.

Но именно теперь становится возможным точнее ответить на главный моральный вопрос всей статьи.

Если большевики получили уже распадающееся государство; если значительная часть провозглашенных ими социальных целей сама по себе не была ложной; если они действительно сумели восстановить государственную власть, — **за что именно они несут собственную моральную ответственность?**

Ответ теперь становится значительно яснее.

Не за то, что история до них пришла к революции.

Не за все противоречия Российской империи.

Не за сам Февраль и начавшийся до Октября распад государства.

Но за собственный выбор — **ускорить историческое развитие и превратить предполагаемое знание будущего в основание для принуждения настоящего**.

Именно к этому вопросу — о точных границах большевистской ответственности — теперь необходимо перейти.

17. В чем тогда собственная моральная ответственность большевиков?

Теперь, после всей предшествующей реконструкции, можно точнее поставить вопрос о моральной ответственности большевиков.

Обычно он формулируется слишком широко.

На большевизм нередко переносится ответственность почти за всю русскую катастрофу начала XX века: падение монархии, разрушение государства, революционное насилие, распад армии, Гражданскую войну и последующее массовое принуждение.

Но такая схема смешивает два совершенно разных вопроса:

какую историческую ситуацию большевики получили

и

что они сами сделали внутри этой ситуации.

Без этого различия моральная оценка превращается либо в обвинительный миф, либо, наоборот, в историческое оправдание.

Ни то ни другое нам не нужно.

Нельзя отвечать за историю, которая возникла до тебя

Большевики не создавали самодержавие и его политические противоречия.

Они не создавали аграрный вопрос.

Не они породили революционный террор второй половины XIX — начала XX века, хотя сами являлись частью революционной традиции и также применяли нелегальные и насильственные методы.

Они не начинали Первую мировую войну.

Они не организовали Февральскую революцию.

Не они заставили Николая II отречься.

Не они создали двоевластие февраля–марта 1917 года.

И не с Октября началось разрушение способности центрального государства управлять огромной территорией.

Исследования революции в провинции прямо показывают, что процесс распада центральной власти начался после Февраля: местные интересы все больше отделялись от общегосударственных, а Временное правительство не смогло соединить демократизацию с поддержанием порядка, продолжением войны и сохранением управляемого государства.

Поэтому формула:

«Большевики разрушили нормальное российское государство»

слишком проста.

В октябре 1917 года нормального функционирующего государства уже не существовало.

Существовала революционная Россия с распадающейся армией, ослабленным центром, самовольным земельным переделом, конкурирующими политическими институтами и стремительно усиливающейся территориальной автономизацией.

Именно эту Россию большевики получили.

Но получить катастрофу — не означает получить моральную индульгенцию

Здесь возникает противоположная опасность.

Если показать, насколько глубоки были предпосылки революции и насколько далеко зашел государственный распад до Октября, можно незаметно перейти к другому упрощению:

раз всё было предопределено предшествующей историей, большевики ни за что не отвечают.

Но именно такого вывода делать нельзя.

Человек не отвечает за все обстоятельства, в которых оказался.

Но он отвечает за **выбор, сделанный внутри этих обстоятельств**.

То же относится и к политическим движениям.

Большевики не создавали российский кризис с нуля.

Но они выбирали, **каким образом отвечать на этот кризис**.

И именно здесь начинается их собственная моральная ответственность.

Они отвечают за установление политической монополии

Первый принципиальный выбор — отношение к политической конкуренции.

В конце 1917 года большевики еще не были единственной политической силой России.

Существовали эсеры, меньшевики, левые эсеры, анархисты, либералы, национальные партии. Состоялись выборы в Учредительное собрание.

Большевики получили значительную, но меньшинственную долю голосов — около четверти. После первого заседания Учредительное собрание было распущено, а дальнейшее развитие режима постепенно привело к устранению легальной партийной конкуренции. К середине 1921 года в России сложилась однопартийная диктатура.

Разумеется, процесс происходил в условиях Гражданской войны, восстаний, иностранной интервенции и реальных угроз существованию большевистского режима.

Эти обстоятельства имеют значение для исторического объяснения.

Но они не уничтожают самого факта политического выбора.

Можно объяснить, **почему** новая власть боялась свободной конкуренции.

Но объяснить — не значит снять ответственность за ее ликвидацию.

Большевики несут ответственность за то, что в ответ на кризис демократической государственности построили не устойчивую конкурентную демократию, а систему политической монополии.

Они отвечают за собственный террор

То же относится к политическому насилию.

Красный террор возник не в безвоздушном пространстве.

До него существовал революционный террор.

Существовало государственное насилие империи.

Во время Гражданской войны массовое насилие применяли разные стороны.

Белый террор, национальные конфликты, погромы, крестьянские восстания и иностранное вмешательство также составляли часть катастрофы.

Поэтому приписывать всё насилие Гражданской войны исключительно большевикам исторически неверно.

Но из этого совершенно не следует, что большевики не отвечают за **собственные формы террора**.

ВЧК была создана большевистским правительством в декабре 1917 года. Она быстро получила чрезвычайные полномочия и стала применять внесудебные репрессии против тех, кого власть относила к контрреволюционерам и врагам режима. Даже внутри большевистской партии существовало неприятие отдельных методов и злоупотреблений ВЧК, однако руководство рассматривало этот аппарат как необходимый для сохранения власти.

Здесь действует важнейший моральный принцип:

наличие насилия у противника может объяснить собственное насилие, но не превращает его автоматически в нравственно нейтральное действие.

Историческая необходимость всегда требует проверки.

Именно потому, что словом «необходимость» легче всего оправдать то, что при других обстоятельствах было бы признано недопустимым.

Они отвечают за превращение политического противника во врага истории

Но глубже самого террора находилось изменение политической логики.

Как мы уже видели, большевистская теория позволяла воспринимать противника не просто как человека с другой программой.

Он мог оказаться представителем исторически уходящего класса.

Контрреволюционером.

Кулаком.

Буржуазным националистом.

Саботажником.

Носителем отсталого сознания.

И здесь политическая борьба переставала быть спором о том, какое будущее следует выбрать.

Она превращалась в борьбу между **будущим и прошлым**.

Это морально чрезвычайно существенно.

Потому что если противник просто ошибается, его следует убеждать.

Если он представляет одну из законных общественных групп, с ним следует договариваться.

Если он политический конкурент, ему необходимо оставить возможность победить на выборах.

Но если он является препятствием историческому прогрессу, возникает совершенно другая логика:

его необходимо устранить.

И именно эта трансформация политического противника во **врага объективного исторического процесса** стала одним из важнейших источников большевистской репрессивной политики.

Они отвечают за то, что слишком часто предпочитали принуждение корректировке проекта

Наша предыдущая аргументация позволяет теперь сформулировать еще более точный уровень ответственности.

Большевики не виноваты в том, что Россия была преимущественно крестьянской страной.

Не виноваты в том, что индустриализация требовала огромных ресурсов.

Не виноваты в том, что модернизация сложного общества неизбежно вызывает конфликты.

Но они отвечают за решение, которое слишком часто принималось при столкновении программы с сопротивлением общества:

не замедлить проект, а заставить общество ускориться.

Наиболее разрушительно этот механизм проявился в коллективизации.

К концу 1920-х годов предпочтение коллективному сельскому хозяйству превратилось в курс на принудительную коллективизацию; исследователи отмечают использование чрезвычайно жесткого государственного давления для преодоления крестьянского сопротивления и извлечения ресурсов из сельского хозяйства ради ускоренной индустриализации.

Здесь особенно хорошо видна собственная ответственность политической власти.

Модернизация могла быть необходима.

Индустриализация могла быть необходима.

Развитие массового образования было необходимо.

Изменение социальной структуры в XX веке было практически неизбежно.

Но из этого еще не следует, что **конкретный темп** преобразований также был неизбежен.

И тем более не следует, что неизбежны были конкретные формы принуждения.

Именно здесь проходит важнейшая моральная граница.

Историческая цель не оправдывает заранее установленный срок ее достижения

Представим две политические программы.

Первая говорит:

Мы хотим создать общество массового образования, социальной защищенности и высокой социальной мобильности. На это потребуется несколько поколений.

Вторая:

Мы должны построить это общество в течение десяти или пятнадцати лет.

Цели могут быть очень похожими.

Но нравственные последствия принципиально различны.

В первом случае человек получает время адаптироваться.

Меняется образование.

Меняется экономика.

Старые социальные структуры постепенно исчезают.

Возникают новые поколения.

Во втором случае возникает огромный разрыв между проектом и реальной жизнью.

И этот разрыв приходится чем-то заполнять.

Если не временем, то административным воздействием.

Если не добровольным изменением, то мобилизацией.

Если не сменой поколений, то принуждением существующего поколения.

Именно поэтому проблема темпа является не техническим, а **моральным вопросом**.

Потому что политическое решение о скорости развития в конечном счете означает решение о том, сколько давления допустимо оказать на живущих сегодня людей ради предполагаемого блага людей будущего.

Они отвечают за приоритет будущего человека над человеком настоящим

Здесь мы подходим к самой глубокой нравственной проблеме большевизма.

Большевистский проект в значительной степени был ориентирован на будущее.

Человек должен быть освобожден от эксплуатации.

Неграмотности.

Бедности.

Национальной вражды.

Сословных ограничений.

Религиозных предрассудков — в большевистском понимании.

Экономической зависимости.

Это была огромная гуманистическая претензия.

Но парадокс состоял в том, что ради освобождения **будущего человека** оказывалось возможным ограничивать свободу человека существующего.

Крестьянин будущего должен быть освобожден от отсталости — поэтому сегодняшнего крестьянина можно принудительно коллективизировать.

Будущее общество должно избавиться от классов — поэтому социальную группу настоящего можно ликвидировать как класс.

Будущий человек должен жить в бесклассовом обществе — поэтому политическое сопротивление этому процессу можно подавить.

Будущее человечество должно преодолеть национальную рознь — поэтому национальные движения настоящего могут быть объявлены реакционными.

Возникает нравственный парадокс:

человек становится средством построения общества, которое должно когда-нибудь поставить человека в центр.

Именно здесь утопическое будущее начинает предъявлять права на настоящее.

Но нельзя свести всю ответственность к Сталину

Здесь требуется еще одно важное различие.

Масштаб репрессий и государственного принуждения резко менялся в разные периоды советской истории.

Нельзя механически отождествлять:

Ленина и Сталина;

военный коммунизм и коллективизацию;

Красный террор времен Гражданской войны и Большой террор 1937–1938 годов.

Это различные исторические процессы с различным масштабом и конкретными причинами.

Но существовала институциональная преемственность.

Уже при Ленине возникли политическая монополия, ВЧК, ограничение легальной оппозиции и представление о диктатуре как допустимой форме осуществления революционной программы. Позднейшая сталинская система резко расширила эти механизмы и придала им масштабы, которых ранний большевизм еще не имел. Источники по истории советского репрессивного аппарата показывают именно эту динамику: после Гражданской войны интенсивность репрессий уменьшилась, а в сталинский период органы политической полиции вновь получили огромные карательные полномочия.

Следовательно, нельзя ни полностью вывести сталинизм непосредственно из Октября, ни рассматривать его как совершенно не связанную с ранней большевистской системой случайность.

Это тоже вопрос исторической ответственности.

Политические институты создают возможности для действий будущих правителей.

Но большевизм нельзя судить только по его преступлениям

При всем этом важно сохранить и противоположную сторону нашего анализа.

Если моральная оценка заключается только в перечислении террора, репрессий и диктатуры, мы снова перестаем понимать историческое явление.

Большевики одновременно:

восстановили государственную управляемость;

построили новую государственную систему;

провели масштабную индустриализацию;

резко расширили образование;

создали механизмы социальной мобильности;

развивали систему здравоохранения и социальных гарантий;

изменили положение женщин;

создали новую модель многонационального государства.

Некоторые из этих процессов сопровождались огромными человеческими издержками.

Но сами результаты не становятся от этого фиктивными.

Именно в этом заключается трудность нравственной оценки большого исторического проекта.

Он может одновременно создавать и разрушать.

Освобождать одних и принуждать других.

Открывать возможности миллионам людей и лишать свободы другие миллионы.

Историческая честность требует удерживать обе стороны одновременно.

Поэтому ответственность необходимо локализовать

Теперь мы можем гораздо точнее сформулировать то, за что большевики **не несут единоличной ответственности**:

за кризис самодержавия;

за десятилетия революционного терроризма;

за неспособность дореволюционной политической системы выработать устойчивый механизм реформ;

за Первую мировую войну;

за Февральскую революцию;

за первоначальный распад армии и центральной власти;

за начавшуюся еще до Октября территориальную дезинтеграцию.

Все это составляло ту историческую ситуацию, которую они унаследовали, хотя сами большевики до Октября также способствовали дальнейшей радикализации революции.

Но у них существует собственная зона ответственности.

Они отвечают:

за вооруженный выбор захвата и удержания власти;

за подавление политической конкуренции;

за ликвидацию независимой общенациональной представительной альтернативы в лице Учредительного собрания;

за созданные ими формы политического террора;

за превращение классовой принадлежности в основание политического преследования;

за последующее применение широкого принуждения в ходе ускоренной социальной модернизации;

за убеждение, что одна партия обладает достаточным знанием исторического будущего, чтобы определять его от имени всего общества.

Именно здесь объяснение заканчивается и начинается моральная ответственность.

Главная формула ответственности

Теперь наша центральная мысль может быть сформулирована значительно точнее.

Нельзя осуждать большевиков за стремление к массовому образованию.

За желание преодолеть крайнее социальное неравенство.

За стремление дать человеку медицинскую помощь независимо от его дохода.

За юридическое равноправие женщин.

За уничтожение наследуемых сословных привилегий.

За стремление преодолеть национальную вражду.

Многие из этих целей позднее стали частью общественного развития далеко за пределами коммунистического мира.

Проблема возникала тогда, когда эти цели превращались из **исторического направления** в **обязательный немедленный проект**.

Поэтому центральную формулу можно сформулировать так:

Большевики несут ответственность не за сами идеалы социальной справедливости и братства народов, а прежде всего за попытку насильственно приблизить время их осуществления.

Но эту формулу необходимо дополнить еще одной:

И за убеждение, что знание желательного будущего дает политической силе право принуждать настоящее от имени этого будущего.

Именно соединение этих двух принципов — **ускорения исторического времени и монополии на знание его направления** — создало нравственную основу значительной части большевистского принуждения.

Ответственность существует именно потому, что история не полностью предопределена

И здесь мы приходим к последнему парадоксу.

Чем больше мы исследовали события 1905–1917 годов, тем сильнее становилось ощущение исторической обусловленности большевистской победы.

Российская политическая система не нашла устойчивого механизма эволюции.

Революционный террор разрушал пространство компромисса.

Первая мировая война уничтожила запас исторического времени.

Февраль разрушил старый источник легитимности.

Армия распадалась.

Земельная революция шла снизу.

Национальные окраины создавали собственные центры.

Политический центр слабел.

Большевики обладали именно тем типом организации, который в этих условиях приобретал максимальное преимущество.

Можно поэтому сказать, что к осени 1917 года вероятность большевистского или иного радикального исхода стала значительно выше, чем была еще несколькими годами ранее.

Но если признать происходившее абсолютно неизбежным, исчезает сама возможность моральной ответственности.

За неизбежное нельзя отвечать.

Ответственность существует только там, где сохраняется возможность выбора.

Поэтому следующий вопрос становится принципиальным:

что вообще означает историческая неизбежность?

Означает ли она отсутствие альтернатив?

Или нечто совершенно иное — постепенное сужение пространства возможных решений вследствие предыдущих человеческих выборов?

И если верно второе, то историческая неизбежность не отменяет моральную ответственность.

Она лишь **распределяет ее во времени**.

18. Что такое историческая неизбежность?

Теперь мы подходим к философскому центру всей статьи.

До сих пор мы неоднократно употребляли слова «неизбежность», «необходимость», «альтернатива», «выбор». Но без уточнения этих понятий легко впасть в одну из двух крайностей.

Первая крайность — полный исторический детерминизм:

Октябрь был неизбежен, потому что вся предшествующая история России закономерно вела к большевистской революции.

Вторая — столь же упрощенное представление о полной свободе:

В каждый момент истории существовало множество равноосуществимых вариантов, и все определялось только случайным выбором отдельных людей.

Обе схемы плохо описывают реальную историю.

История не является заранее написанным сценарием.

Но она и не представляет собой пространство бесконечной свободы, где каждое поколение начинает выбор заново.

Каждое новое решение принимается **внутри мира, созданного предыдущими решениями**.

И именно здесь возникает особый тип исторической необходимости.

Историческая необходимость может быть результатом накопившихся свободных человеческих решений.

Неизбежность — не то же самое, что предопределенность

Сначала необходимо провести принципиальное различие.

Если событие предопределено, значит, никакой реальной альтернативы ему не существовало.

В философском смысле детерминизм предполагает, что при заданном состоянии мира и соответствующих законах дальнейший ход событий уже фиксирован. Именно так понятие причинного детерминизма обычно определяется в современной философии.

Но исторические процессы устроены иначе.

В них действуют люди.

Люди принимают решения.

Они ошибаются.

Меняют планы.

Объединяются.

Предают.

Начинают войны.

Отказываются от реформ.

Идут на компромиссы или отвергают их.

Поэтому современная философия истории значительно осторожнее относится к представлению о крупных исторических событиях как о реализации одного заранее действующего закона. Исторические исходы часто возникают из множества локальных решений, институциональных ограничений, случайностей и накопившихся обстоятельств.

Следовательно, никакой мистической необходимости Октября не существовало.

Не было исторического закона, который в 1900 году уже гарантировал приход большевиков к власти в октябре 1917-го.

Но из этого вовсе не следует, что к каждому следующему моменту все варианты оставались одинаково возможными.

Именно здесь начинается более интересная проблема.

История постепенно закрывает собственные двери

Представим длинный коридор с множеством дверей.

В начале открыты почти все.

Человек проходит через одну.

Часть прежних дверей после этого оказывается позади.

Через следующую — закрываются новые возможности.

Через несколько последовательных выборов человек может оказаться в конце коридора, где перед ним остаются только две двери.

Формально он все еще свободен.

Но его свобода теперь несравнима со свободой в начале пути.

И главное — сокращение свободы произошло не обязательно потому, что кто-то внешне ее уничтожил.

Оно стало следствием **предыдущих свободных выборов**.

История обществ часто устроена подобным образом.

Политология описывает близкий механизм понятием **зависимости от предшествующего пути** — path dependence.

Его смысл состоит именно в том, что последовательность решений имеет значение: первоначально возможны различные варианты, но после выбора определенного пути возникают институты, интересы, ожидания и издержки изменения курса, вследствие чего возвращение к прежним альтернативам становится все труднее. Политолог Пол Пирсон подчеркивает, что небольшие или случайные решения в критические моменты могут иметь очень крупные долгосрочные последствия, а однажды выбранный курс иногда становится чрезвычайно трудно изменить.

При этом зависимость от пути — не теория фатальной неизбежности. Она описывает именно **ограничение сегодняшнего набора вариантов историческим опытом прошлого**.

Это очень близко к тому пониманию исторической необходимости, которое нам необходимо.

1905 год: пространство возможностей еще велико

После революции 1905 года российская история еще сохраняла довольно широкий спектр возможных траекторий.

Можно представить постепенное развитие Думы.

Можно — усиление конституционной монархии.

Можно — продолжение столыпинских реформ.

Можно — более быстрое развитие местного самоуправления.

Можно — постепенную легализацию социалистических партий.

Можно — новый виток реакции.

Можно — новую революцию.

Ни один из этих вариантов не был гарантирован.

Но несколько различных будущих еще оставались политически мыслимыми.

Именно поэтому неправильно смотреть из 1917 года назад и утверждать, будто уже революция 1905 года доказала неизбежность Октября.

Она доказала другое:

старая модель самодержавия столкнулась с глубоким кризисом.

Как этот кризис будет разрешен — еще оставалось открытым вопросом.

Но каждое нерешенное противоречие уменьшало число будущих вариантов

Если после кризиса проводится успешная реформа, пространство дальнейшего выбора обычно расширяется.

Если проблема не решается, она переносится в будущее — зачастую в более тяжелой форме.

Аграрный вопрос не исчезает.

Конфликт между монархией и представительной системой не исчезает.

Революционное подполье не исчезает.

Взаимное недоверие власти и оппозиции не исчезает.

Национальный вопрос остается нерешенным.

Политический террор оставляет после себя культуру насилия и ответной репрессии.

Каждый такой нерешенный конфликт становится частью условий следующего выбора.

И поэтому следующее поколение уже выбирает не из того же набора возможностей, что предыдущее.

Свобода предыдущего поколения становится структурой для следующего.

1914 год: война закрывает множество мирных путей

Начало Первой мировой войны резко меняет ситуацию.

Реформы теперь должны конкурировать с военной мобилизацией.

Политическое развитие — с необходимостью победить во внешней войне.

Социальные противоречия — с огромными потерями, инфляцией и транспортным кризисом.

Государство получает значительно меньше времени для исправления прежних ошибок.

Теоретически мирная эволюция все еще остается возможной.

Но практически условия для нее ухудшаются.

Именно поэтому историческую вероятность нельзя изображать бинарно:

возможно / невозможно.

Между этими состояниями существует огромное пространство.

Вариант может оставаться логически возможным, но становиться политически все менее реалистичным.

Это и есть начало исторического сужения.

Февраль 1917 года закрывает еще одну группу возможностей

После отречения Николая II уже невозможно просто вернуться к постепенной реформе монархии образца 1906 года.

Эта дверь закрылась.

Конституционная монархия, которая еще могла быть реальным вариантом несколькими годами ранее, после Февраля практически исчезает из непосредственной политической повестки.

Теперь Россия должна создавать новый источник легитимности.

Но одновременно распадается старый административный и военный порядок.

Возникает двоевластие.

Растет крестьянская революция.

Усиливается автономизация регионов.

Продолжается война.

Формально пространство вариантов все еще велико:

демократическая республика;

социалистическая коалиция;

Учредительное собрание;

федеративная перестройка;

сильная военная власть;

советская власть.

Но важнейшее изменение уже произошло:

вернуться к состоянию февраля 1914 года невозможно.

История приобрела необратимость.

К осени 1917 года остаются уже главным образом тяжелые варианты

Именно здесь появляется соблазн назвать большевистскую победу неизбежной.

Но точнее сказать иначе.

К осени 1917 года значительная часть **малоболезненных вариантов** была потеряна.

Можно было еще попытаться создать социалистическую коалицию.

Можно было дождаться Учредительного собрания.

Можно было попытаться установить более жесткий военный режим.

Можно было пойти по пути дальнейшей федерализации.

Мог победить иной политический центр.

Следовательно, Октябрь не был единственным мыслимым исходом.

Но почти любой оставшийся вариант уже предполагал чрезвычайно тяжелое наследство:

разваливающуюся армию;

крестьянский передел;

политическую радикализацию;

территориальный кризис;

экономическую дезорганизацию;

миллионы вооруженных людей;

отсутствие общепризнанной легитимности.

То есть выбор сохранялся.

Но выбор между хорошим и плохим все больше превращался в **выбор между различными плохими вариантами**.

Вот что можно назвать исторической почти-неизбежностью.

Не исчезновение свободы вообще.

А исчезновение значительной части благоприятных альтернатив.

История не заставляет выбрать одну дверь — она может оставить только плохие двери

Это различие принципиально важно.

Историческая необходимость не обязательно говорит:

Ты обязан сделать X.

Иногда она говорит:

Ты можешь выбрать X, Y или Z, но варианта A, который был доступен двадцать лет назад, больше не существует.

И тогда возникает совершенно иной взгляд на политическую ответственность.

Представим, что в 1906 году возможно решить проблему сравнительно умеренной реформой.

Эта реформа откладывается.

Через десять лет для решения той же проблемы уже требуется радикальное изменение.

Еще через несколько лет — революция.

Из этого не следует, что революционер не отвечает за свои действия.

Но нельзя всю ответственность за революцию переносить только на него.

Потому что цена его выбора частично была определена **невыборами и ошибками предыдущих поколений**.

Свобода превращается в необходимость через накопление последствий

И здесь возникает философский парадокс.

Мы привыкли противопоставлять свободу и необходимость.

Либо человек свободен.

Либо обстоятельства заставляют его действовать.

Но история показывает более сложную связь.

Свободный поступок сегодня может создать необходимость завтра.

Государь свободно отказывается от реформы.

Политик свободно отвергает компромисс.

Революционер свободно выбирает террор.

Либеральное общество свободно морально оправдывает часть революционного насилия.

Правительство свободно принимает решение вступить в определенную систему международных обязательств.

Политические силы свободно отказываются сотрудничать друг с другом.

Каждый отдельный поступок может быть свободным.

Но последствия накапливаются.

Через десять или двадцать лет новое поколение получает уже не чистый лист, а структуру обстоятельств.

И то, что для первого поколения было **выбором**, для следующего становится **условием выбора**.

Отсюда можно сформулировать одну из центральных идей статьи:

Свобода одного поколения становится ограничением свободы следующего.

Именно так свобода способна производить историческую необходимость.

Историческая необходимость имеет человеческое происхождение

Это особенно важно потому, что позволяет отказаться от мистического понимания истории.

Не нужно представлять некий мировой дух, рок или безличный исторический закон, который вел Россию к Октябрю.

Значительная часть той «необходимости», которую мы обнаруживаем в 1917 году, была когда-то произведена совершенно конкретными людьми.

Кто-то принимал решение.

Кто-то отказывался от компромисса.

Кто-то применял насилие.

Кто-то отвечал насилием на насилие.

Кто-то не проводил реформу вовремя.

Кто-то считал уступку слабостью.

Кто-то рассчитывал, что проблема разрешится сама.

Каждое такое решение изменяло пространство следующего решения.

И спустя десятилетия накопленный результат начинал выглядеть как объективная историческая сила.

Но в своей глубине эта сила часто была **окаменевшей человеческой свободой**.

Неизбежность часто видна только задним числом

Здесь необходимо еще одно предостережение.

Историк знает, что произошло.

Человек 1917 года этого не знал.

Мы знаем Октябрь.

Знаем Гражданскую войну.

Знаем СССР.

Знаем коллективизацию.

Знаем 1937 год.

Из-за этого возникает сильнейшая иллюзия ретроспективной неизбежности.

Каждый предыдущий эпизод начинает выглядеть как ступень к уже известному результату.

Но современная философия истории как раз подчеркивает роль контингентности и зависимости от последовательности событий: один и тот же исход может возникать из множества взаимодействующих причин, причем небольшие изменения в последовательности способны заметно менять последующее развитие.

Поэтому нельзя писать:

1905 → неизбежно 1914 → неизбежно Февраль → неизбежно Октябрь → неизбежно Сталин.

Такой цепочки не существовало.

На каждом этапе оставались развилки.

Но число развилок сокращалось.

Можно представить историю как дерево возможностей

В начале существует множество ветвей.

Каждое решение отсекает часть из них.

Следующее решение принимается уже не на исходном дереве, а на одной конкретной ветви.

Затем возникают новые ответвления.

Часть снова отсекается.

Чем дальше мы движемся, тем меньше возможность вернуться к первоначальным вариантам.

Так выглядит исторический процесс значительно реалистичнее, чем прямая линия детерминизма.

Условно можно представить русскую историю начала XX века следующим образом:

1905 год — множество относительно широких вариантов развития.

1914 год — спектр уже уже, а цена ошибки выше.

Февраль 1917 года — целый класс прежних решений закрыт окончательно.

Осень 1917 года — хорошие варианты почти исчерпаны, хотя несколько тяжелых альтернатив еще существуют.

Это не математическая модель и не попытка присвоить различным исходам точные вероятности.

Это способ описать **структуру исторической свободы**.

Поэтому вопрос «можно ли было избежать большевизма?» поставлен слишком грубо

Формально — да.

Не существует доказательства, что в октябре могла победить только большевистская партия.

Но значительно интереснее другой вопрос:

в какой момент избежать такого типа радикального исхода было легче всего?

В 1906 году?

В 1911-м?

До вступления в мировую войну?

Весной 1917 года?

В августе?

В октябре?

И ответ, вероятно, будет различным.

Чем раньше мы отступаем в прошлое, тем больше обнаруживаем альтернатив.

Чем ближе к октябрю, тем уже становится пространство реалистического выбора.

Следовательно, вопрос о предотвращении катастрофы нельзя задавать только ее последним участникам.

Если пожар уже охватил весь дом, возможности пожарного принципиально отличаются от возможностей человека, который несколькими часами раньше мог заменить неисправную проводку.

Но сужение выбора не уничтожает моральной ответственности

Здесь особенно важно не перейти от исторического понимания к оправданию.

Даже если человеку оставлены только плохие варианты, он продолжает отвечать за то, **какой именно плохой вариант выбрал**.

Большевики получили чрезвычайно узкое пространство решений.

Но это не заставляло их автоматически:

разгонять Учредительное собрание;

создавать однопартийную систему;

использовать именно те формы террора, которые они использовали;

переходить позднее к форсированной коллективизации;

считать политическую монополию партии исторически необходимой.

Эти решения обладали собственными альтернативами.

То есть историческая обусловленность уменьшает диапазон выбора, но **не уничтожает остаточную свободу внутри него**.

А именно там, где сохраняется свобода, сохраняется и ответственность.

Свобода и необходимость существуют одновременно

Получается парадоксальная, но чрезвычайно важная формула.

Люди свободны, но не свободны выбирать обстоятельства, созданные до них.

В этом смысле история соединяет две вещи:

человеческую свободу действия

и

унаследованную необходимость обстоятельств.

Очень близкую мысль классическая философия истории часто выражала через известную марксову формулу: люди создают собственную историю, но делают это не в обстоятельствах, выбранных ими самими. Современная философия истории также рассматривает историческое объяснение именно как соединение человеческой деятельности с ограничивающими ее институтами и обстоятельствами.

Но к этой формуле следует добавить еще один шаг:

обстоятельства, которые одно поколение не выбирало, часто были созданы выбором предыдущего поколения.

И тогда необходимость перестает быть чем-то внешним человеку.

Она становится исторически накопленным результатом человеческой деятельности.

В этом смысле Октябрь был одновременно случайным и закономерным

Эти слова кажутся противоположными только на первый взгляд.

Октябрь был **не предопределен**.

Могла иначе закончиться война.

Могла иначе развиваться революция.

Другие партии могли принять иные решения.

Временное правительство могло действовать иначе.

Большевики сами могли проиграть борьбу за власть.

Но Октябрь был и **глубоко обусловлен**.

Он стал возможен благодаря целой последовательности процессов, каждый из которых уменьшал жизнеспособность умеренной альтернативы:

кризису имперской политической системы;

революционному насилию;

слабости политического центра;

войне;

Февралю;

развалу армии;

земельной революции;

двоевластию;

национальной дезинтеграции;

неспособности Временного правительства создать общепризнанную власть.

Поэтому наиболее точная формула звучит не:

Октябрь был неизбежен.

И не:

Октябрь был случайностью.

А:

Октябрь становился все более вероятным по мере того, как предыдущие решения уничтожали альтернативы ему.

Это и есть историческая необходимость без исторического фатализма.

История может быть трагической именно потому, что люди свободны

И здесь мы приходим к неожиданному выводу.

Если бы все было заранее предопределено, трагедии в строгом моральном смысле не существовало бы.

Трагедия возникает потому, что в определенный момент **можно было поступить иначе**.

Но этого не сделали.

Затем возможности стало меньше.

И следующее поколение получило более тяжелый выбор.

Оно снова что-то выбрало.

И снова сузило пространство будущего.

В результате спустя десятилетия может возникнуть ситуация, которая для ее непосредственных участников выглядит почти безвыходной.

Не потому, что так решил исторический рок.

А потому, что слишком много возможностей уже было израсходовано предшествующей историей.

Именно поэтому:

Историческая неизбежность может быть не отрицанием человеческой свободы, а ее накопленным результатом.

Свобода прошлого становится необходимостью настоящего

Теперь можно окончательно сформулировать нашу модель.

Каждое поколение получает определенное пространство возможного.

Оно свободно выбирать внутри него.

Но каждый выбор изменяет пространство возможного для следующего поколения.

Одни решения расширяют его.

Другие сужают.

Хорошие институты создают будущим людям больше возможностей.

Войны, насилие, нерешенные социальные конфликты, разрушение доверия и отказ от компромиссов — меньше.

Поэтому свобода обладает не только индивидуальным, но и **межпоколенческим нравственным измерением**.

Мы отвечаем не только за непосредственные последствия собственных решений.

Мы отвечаем также за **тот набор возможностей, который оставляем после себя**.

И тогда становится понятен еще один важнейший вывод:

Свобода одного поколения становится ограничением — или расширением — свободы следующего.

Именно отсюда возникает проблема исторической ответственности.

Если большевики отвечают за те решения, которые приняли после прихода к власти, то ответственность за саму ситуацию 1917 года должна быть распределена значительно шире.

Она лежит не на одном политическом движении и не на одном моменте истории.

Она распределена между многими поколениями, институтами и политическими силами, которые своими решениями постепенно создавали тот узкий коридор возможностей, внутри которого действовали люди 1917 года.

Поэтому следующим шагом необходимо поставить еще более трудный вопрос:

как распределяется моральная ответственность во времени, если одни поколения создают обстоятельства, в которых другие уже почти не имеют хорошего выбора?

19. Моральная ответственность распределена во времени

Если историческая необходимость возникает как накопленный результат человеческих решений, то отсюда следует важный нравственный вывод.

Ответственность за большую историческую катастрофу редко принадлежит одному человеку, одной партии или одному поколению.

Это не означает, что «виноваты все», а следовательно, не виноват никто.

Наоборот.

Необходимо значительно точнее спрашивать:

кто, в какой момент, обладая какими возможностями, сделал какой выбор — и каким образом этот выбор изменил пространство возможностей для тех, кто пришел после него?

Только так можно уйти одновременно от двух упрощений:

от поиска единственного виновника

и от растворения всякой ответственности в безличном «ходе истории».

Причинная ответственность и моральная ответственность — не одно и то же

Прежде всего необходимо различить несколько вещей.

Человек или политическая сила могут **причинно участвовать** в возникновении определенного результата, не неся одинаковой моральной ответственности за все его последствия.

Например, политическая реформа может непреднамеренно открыть пространство для радикальных сил.

Это причинный вклад.

Но моральная оценка зависит от другого:

мог ли действующий предвидеть последствия;

существовали ли реалистические альтернативы;

какими мотивами он руководствовался;

применял ли он сознательно насилие;

насколько свободным был его выбор.

Поэтому распределенная ответственность — это не арифметическое деление вины.

Нельзя сказать:

монархия виновата на двадцать процентов,

революционеры — на двадцать,

либералы — на пятнадцать,

большевики — на сорок пять.

История так не работает.

Речь идет о **разных видах ответственности за разные решения**.

Монархия отвечает не за революцию как таковую, а за упущенные возможности реформы

Российская монархия не могла заранее знать, что именно в октябре 1917 года к власти придут большевики.

Было бы абсурдно обвинять Николая II в сознательном создании советского государства.

Но имперская власть несет ответственность за собственное отношение к политической модернизации.

После революции 1905 года возникла реальная возможность постепенно встроить представительные институты в систему власти.

Дума существовала, гражданское общество развивалось, политические партии легализовывались.

Но монархия так и не примирилась полностью с самой идеей ограничения самодержавной власти. После 1905 года Николай II и его окружение стремились сохранить за короной чрезвычайно широкие полномочия, а избирательная система после переворота 3 июня 1907 года была изменена таким образом, чтобы обеспечить более благоприятный для правительства состав Думы. Историки именно поэтому рассматривают судьбу послереволюционной политической системы как один из важнейших упущенных шансов на постепенную трансформацию режима.

Следовательно, ответственность монархии состоит не в том, что она «создала большевиков».

Она состоит в другом:

власть обладала временем для политического приспособления и использовала его недостаточно.

Тем самым она оставила следующему поколению более узкое пространство мирного политического выбора.

Революционные террористы отвечают за превращение убийства в нормальный политический инструмент

Но ответственность существовала и с другой стороны.

Российское революционное движение создало одну из наиболее развитых традиций политического терроризма своего времени. Уже «Народная воля» превратила индивидуальный террор в систематическую революционную стратегию, а позднее этот метод получил дальнейшее развитие. Исследователи истории терроризма отмечают, что Российская империя стала одним из важнейших центров первой современной волны терроризма, а за рубежом политическое насилие такого типа иногда даже называли «русским методом».

И здесь ответственность совершенно конкретна.

Террорист может считать существующую власть несправедливой.

Он может иметь серьезные основания для политического протеста.

Но в момент, когда убийство государственного деятеля или чиновника объявляется допустимым инструментом исторического прогресса, меняется сама нравственная структура политики.

Возникает принцип:

политическая цель может при определенных условиях оправдать физическое устранение противника.

Эта идея появилась в русской революционной культуре задолго до большевистского террора.

Большевики не изобрели ее.

Но позднее они смогут использовать уже существующий язык политического насилия в значительно более масштабной государственной форме.

Поэтому революционные террористы отвечают не за Красный террор как таковой.

Они отвечают за собственный вклад в **предварительную легитимацию политического убийства**.

Часть либеральной и интеллигентской среды отвечает за моральную двусмысленность

Здесь необходима особая осторожность.

Российских либералов нельзя объявлять сторонниками терроризма вообще.

В либеральной среде существовали разные позиции, включая прямое неприятие политического насилия. Исследования отношения либеральных партий к террору в 1905–1907 годах показывают именно неоднородность этой реакции.

Но проблема состояла в другом.

Для части образованного общества революционное насилие получало особое моральное объяснение:

террор ужасен, но его породило самодержавие;

революционер убивает, потому что перед ним закрыты легальные средства борьбы;

следовательно, конечная вина снова лежит на режиме.

Такое объяснение могло быть причинно вполне серьезным.

Но нравственно оно создавало асимметрию.

Насилие государства оценивалось прежде всего как **выбор государства**.

Насилие революционера — как **следствие обстоятельств**.

Тем самым личная ответственность одного из участников конфликта частично растворялась в ответственности системы.

Именно здесь часть либеральной и интеллигентской среды могла способствовать созданию атмосферы, в которой революционный террорист воспринимался не просто как убийца, а как трагическая или даже героическая фигура борьбы с несправедливостью.

Ответственность этой среды — не в совершении терактов.

Она лежит в области **морального языка, которым общество описывает насилие**.

Потому что общество участвует в истории не только действиями.

Оно участвует и тем, что считает допустимым.

Первая мировая война резко изменила сам масштаб ответственности

Затем появляется фактор, который вообще невозможно свести к российской внутренней политике.

Мировая война.

Она не была создана ни большевиками, ни российскими либералами, ни российскими революционерами.

Но именно война превратила кризис режима в кризис государства. Историки подчеркивают ее центральное значение для падения старого порядка в России: война резко усилила административные, социальные и политические нагрузки и стала непосредственным контекстом конца монархии.

Это важный пример того, почему ответственность за историю нельзя замкнуть внутри одного государства.

Историческая ситуация создается также международными решениями.

Но и здесь нельзя говорить о каком-то одном виновнике всей мировой катастрофы: вступление европейских держав в войну было результатом сложного взаимодействия союзов, мобилизационных решений, стратегических расчетов и кризиса международной системы.

Для нашей темы важно другое.

Война резко уменьшила пространство для исправления всех предыдущих ошибок.

Она **подняла цену уже существовавших противоречий**.

Политические силы Февраля отвечают за то, что не смогли превратить свободу в устойчивую власть

Февраль уничтожил самодержавие, но не создал автоматически нового устойчивого государства.

И здесь начинается новая зона ответственности.

Политические силы, пришедшие к власти после падения монархии, получили чрезвычайно тяжелое наследство.

Продолжалась война.

Армия была истощена.

Экономика испытывала огромную нагрузку.

Крестьяне требовали земли.

Национальные движения требовали автономии.

Советы становились альтернативным центром легитимности.

Поэтому нельзя рассуждать так, будто Временное правительство получило нормальную страну и просто «плохо ею управляло».

Но одновременно нельзя отрицать собственную ответственность политиков 1917 года.

Февральская революция вызвала резкую демобилизацию старых государственных институтов — армии, полиции и административной системы. Исследования 1917 года именно государственный распад рассматривают как один из ключевых процессов, позволивших последующим радикальным силам получить преимущество.

Правительство и умеренные социалистические силы не сумели решить фундаментальное противоречие:

как одновременно расширить свободу и сохранить государственную способность принимать обязательные решения.

Они не создали кризис с нуля.

Но они не сумели его остановить.

И именно в этом состоит их собственная историческая ответственность.

Однако ответственность Февраля тоже не должна превращаться в обвинение задним числом

Мы знаем Октябрь.

Люди февраля 1917 года его не знали.

Они могли совершенно искренне считать, что падение самодержавия открывает путь к демократической России.

И это была реальная возможность.

Поэтому их нельзя обвинять в том, что они сознательно готовили большевистскую диктатуру.

Их ответственность значительно точнее:

они принимали решения, которые должны оцениваться по доступным им альтернативам и последствиям, которые уже можно было видеть в 1917 году.

Иными словами, историк не должен требовать от человека знания будущего.

Но может спросить, насколько ответственно тот реагировал на уже наблюдавшийся распад настоящего.

Национальные движения также принимали собственные решения

Необходимо столь же осторожно говорить о национальных движениях.

После Февраля украинцы, финны, татары, башкиры, народы Кавказа и другие общности получили возможность заново поставить вопрос о своем месте в бывшей империи.

Многие движения первоначально требовали не независимости, а автономии. В 1917 году различные проекты автономии и федерализации оставались важной частью постимперской политики, а некоторые образования переходили к независимости лишь по мере дальнейшего разрушения общероссийского центра.

Поэтому нельзя сделать простой вывод:

национальные движения виноваты в распаде России.

Они действовали в условиях крушения империи, которая сама не сумела выработать устойчивую форму добровольного многонационального единства.

И стремление народа к автономии или национальному самоопределению само по себе не является моральной виной.

Но национальные политические элиты также были историческими субъектами.

Они выбирали:

форму отношений с центром;

территориальные претензии;

отношения с соседними народами;

степень готовности к компромиссу;

союзы с внешними силами;

военные способы защиты собственных проектов.

Поэтому они отвечают **не за сам факт национального самоопределения**, а за конкретные решения, принятые в ходе распада общего пространства.

Это принципиальное различие.

Большевики получили узкий коридор — но сами выбрали, как пройти по нему

И наконец мы возвращаемся к большевикам.

К октябрю 1917 года они действовали уже внутри чрезвычайно узкого исторического коридора.

Старая монархия исчезла.

Легитимность центральной власти была подорвана.

Армия распадалась.

Крестьяне самостоятельно решали земельный вопрос.

Региональные политические центры усиливались.

Война продолжалась.

Умеренные силы не сумели создать устойчивую власть.

Было бы исторически несправедливо возложить на большевиков ответственность за создание всех этих условий.

Но большевики отвечают за то, **что сделали с условиями, которые получили**.

Они выбрали вооруженный захват власти.

Они распустили Учредительное собрание.

Они постепенно установили политическую монополию.

Они создали собственную систему революционного террора.

Они затем выбрали определенный темп индустриализации и коллективизации.

Они превратили марксистское понимание исторического развития в основание партийной монополии на определение будущего.

Именно здесь находится их собственная зона моральной ответственности.

Распределенная ответственность не означает одинаковую ответственность

Это, пожалуй, важнейшая оговорка всего раздела.

Когда мы говорим, что ответственность за революционную катастрофу распределена между различными силами, нельзя делать следующий шаг:

следовательно, все виноваты одинаково.

Нет.

У каждого была различная власть.

Различная информация.

Различная свобода выбора.

Различный масштаб последствий.

Политический публицист, морально оправдывающий террориста, и человек, подписывающий приказ о массовой репрессии, несут ответственность **разного порядка**.

Монарх, отказывающийся от своевременного компромисса, и революционер, совершающий убийство, отвечают за разные действия.

Правительство, не сумевшее предотвратить распад, и власть, сознательно применяющая террор, также не могут оцениваться одинаково.

Распределить ответственность — значит не уравнять ее, а **индивидуализировать**.

Каждый отвечает за свое.

Можно представить историю как цепь передачи ограничений

Теперь становится видна связь этого раздела с предыдущим.

Одно поколение принимает решения.

Эти решения создают обстоятельства для следующего.

Следующее поколение обладает меньшей свободой.

Но все еще обладает какой-то свободой.

Оно снова выбирает.

И снова передает последствия дальше.

Получается цепочка:

самодержавие не завершает политическую модернизацию →

революционное движение радикализируется →

политическое убийство получает идеологическое оправдание →

пространство компромисса сужается →

война многократно усиливает все противоречия →

Февраль разрушает старую легитимность →

новая власть не успевает создать устойчивый центр →

территориальные и социальные процессы становятся все более автономными →

радикально организованная партия получает преимущество →

эта партия строит новое государство уже собственными методами.

Ни одна стрелка в этой цепочке не означает абсолютной неизбежности следующего события.

Но каждая изменяет вероятность и цену следующего выбора.

Поэтому бессмысленно искать единственную точку происхождения катастрофы

Можно обвинить Николая II.

Но тогда придется спросить, в какой политической культуре действовала монархия и каким было давление революционного движения.

Можно обвинить революционеров.

Но придется спросить, почему легальные каналы политической борьбы были столь ограничены.

Можно обвинить либералов в слабости.

Но придется помнить, что они действовали между авторитарным государством и радикальным революционным движением.

Можно обвинить Временное правительство.

Но оно получило мировую войну, разрушенную легитимность и революционное общество.

Можно обвинить национальные движения.

Но они возникли внутри империи, которая сама не создала устойчивой модели равноправного многонационального политического сообщества.

Можно обвинить большевиков.

Но к моменту их прихода к власти значительная часть государства уже находилась в состоянии распада.

У каждого объяснения существует предыстория.

Но предыстория не отменяет конкретного выбора.

Именно поэтому история не должна превращаться ни в бесконечное оправдание, ни в поиск удобного последнего виновника.

Чем ближе человек к моменту катастрофы, тем меньше может быть его свобода

Отсюда следует еще один парадоксальный вывод.

Мы интуитивно склонны возлагать наибольшую ответственность на тех, кто действует непосредственно в момент катастрофы.

Они виднее всего.

Именно их решения непосредственно предшествуют результату.

Но иногда человек, находящийся в самом конце исторического процесса, имеет **меньше реальных вариантов**, чем тот, кто действовал двадцать лет назад.

В 1906 году еще можно было обсуждать эволюцию конституционной системы.

В 1914 году пространство сужается.

Весной 1917 года оно сужается еще сильнее.

Осенью выбор происходит уже среди чрезвычайно опасных вариантов.

Получается нравственный парадокс:

тот, кто находится ближе всего к катастрофе, не обязательно является тем, у кого было больше всего возможностей ее предотвратить.

Иногда наибольшая свобода существовала значительно раньше — когда последствия еще не казались драматическими.

А значит, моральная ответственность должна учитывать не только масштаб последующего бедствия, но и **объем нереализованной свободы в момент решения**.

Политическая ответственность имеет межпоколенческий характер

Из этого следует более общий принцип.

Политическое решение нравственно значимо не только тем, что оно делает сегодня.

Оно формирует пространство свободы для людей, которых еще нет.

Хороший институт оставляет следующему поколению множество вариантов.

Плохой институт заставляет его тратить силы на исправление чужих ошибок.

Компромисс может сохранить несколько будущих путей.

Насилие зачастую уничтожает их.

В этом смысле политика всегда имеет **межпоколенческое измерение**.

Одно поколение может израсходовать политический капитал, стабильность и доверие, которые создавались десятилетиями.

Следующему достается уже более жесткий мир.

И тогда историческая ответственность оказывается ответственностью не только за совершенные действия, но и за **оставленное после себя пространство возможного**.

Это и позволяет избежать примитивного суда над историей

Историческая зрелость начинается там, где мы перестаем задавать только вопрос:

Кто виноват?

и начинаем задавать более сложный:

Кто за что отвечает?

Монархия — за недостаточность своевременной политической перестройки.

Революционные террористы — за собственный выбор политического убийства и его превращение в революционный метод.

Часть либеральной и интеллигентской среды — за моральную двусмысленность по отношению к революционному насилию.

Политические силы Февраля — за неспособность превратить освобождение от старой власти в устойчивую новую государственность.

Национальные движения — за конкретные решения, которые они принимали в процессе распада общего политического пространства, но не за само стремление к автономии или самоопределению.

Большевики — за тот способ, которым они захватили власть, восстановили государство и затем перестраивали общество.

Ни одна из этих ответственностей не отменяет остальные.

И ни одна не равна другой.

Последний человек в цепи не несет ответственности за всю цепь

Теперь можно сформулировать главный тезис раздела:

Ответственность за историю нельзя свести к последнему человеку, который оказался у власти в момент катастрофы.

Большевики получили историю, созданную до них.

Но затем сами стали создателями истории, которую получили следующие поколения.

И поэтому к ним должен применяться тот же принцип, который мы применяли к монархии, революционерам и политикам Февраля:

каждое поколение отвечает за то пространство возможностей, которое оно получило, за выбор, который сделало внутри этого пространства, и за пространство возможностей, которое оставило после себя.

В этом смысле моральная ответственность не исчезает в истории.

Она **передается через историю**.

Каждый участник получает последствия чужой свободы — и добавляет к ним последствия собственной.

И только после этого мы можем вернуться к большевизму уже с последним вопросом.

Если многие его социальные цели совпадали с общим направлением XX века, если сам его приход к власти был глубоко обусловлен предшествующим распадом, а его специфическая вина заключалась прежде всего в насильственном ускорении развития и монополии на знание будущего, то как сформулировать окончательную оценку?

Большевики ошиблись в самих идеалах — или прежде всего во времени, методах и своем отношении к исторической истине?

20. Большевики: ошиблись в идеалах или во времени?

Теперь можно вернуться к вопросу, который проходил через всю вторую половину нашего исследования:

В чем состояла фундаментальная ошибка большевизма?

В самих целях?

В методах?

В представлении о человеке?

В скорости преобразований?

Или в уверенности, что партия обладает знанием объективного направления истории?

Простой ответ здесь был бы привлекательным, но неверным.

Нельзя сказать, что большевики были просто носителями ложных идеалов и поэтому закономерно создали репрессивное государство.

Но столь же трудно принять противоположную формулу:

идеалы были правильными, ошибочными оказались только методы.

Проблема сложнее.

Часть большевистских идеалов действительно оказалась исторически продуктивной и вошла — зачастую в совершенно иных формах — в социальную норму XX века.

Часть их представлений о будущем оказалась спорной или ошибочной уже сама по себе.

А специфическая трагедия большевизма возникла прежде всего там, где **социально продуктивные цели соединились с насильственным ускорением исторического времени и убеждением в исключительном праве партии определять направление этого ускорения**.

Именно здесь, возможно, находится наиболее точная оценка большевистского опыта.

Большевики действительно уловили часть будущего

Если мысленно убрать из картины Гражданскую войну, террор, политическую монополию и последующие репрессии и посмотреть только на ряд социальных требований, сформулированных революционным движением, многое окажется вполне узнаваемым для современного человека.

Массовое образование.

Доступная медицина.

Социальное страхование.

Защита человека в старости и болезни.

Равенство граждан независимо от происхождения.

Расширение прав женщин.

Социальная мобильность.

Ограничение крайнего имущественного неравенства.

Представление о том, что государство несет ответственность не только за порядок, но и за определенный уровень человеческого благополучия.

Все это не осталось специфически коммунистической программой.

История XX века в значительной степени стала историей формирования **социального гражданства**. Даже в капиталистических демократиях постепенно укреплялось представление, что гражданские и политические права должны дополняться правом на образование, медицинскую помощь, социальное обеспечение и защиту от основных жизненных рисков. Исследования европейской истории называют становление социального государства одним из важнейших политических процессов XX столетия.

Следовательно, большевистский вопрос:

имеет ли человек право на образование, медицину и социальную защищенность независимо от богатства и происхождения?

не оказался историческим заблуждением.

Напротив, разные политические системы постепенно давали на него все более сходный положительный ответ.

Различались способы.

Но направление действительно было гораздо шире самого коммунизма.

И советский проект действительно создавал новые социальные возможности

Нельзя свести советскую модернизацию только к принуждению.

Раннее советское государство сознательно ставило задачу разрушить образовательные барьеры старого сословного общества. Уже в 1918 году Наркомпрос представлял систему образования как единую лестницу, по которой ребенок независимо от социального происхождения должен иметь возможность подняться от начальной школы до университета.

В 1920–1930-е годы эта идея породила реальную и очень масштабную социальную мобильность.

Тысячи, а затем десятки тысяч выходцев из рабочих и крестьянских слоев направлялись в высшие учебные заведения, становились инженерами, управленцами и специалистами. Фицпатрик показывает, насколько тесно образовательная политика первых пятилеток была связана с сознательным созданием новой социальной элиты из людей, которые в прежней системе имели значительно меньшие шансы на подобную карьеру.

Это тоже часть исторической правды.

Советский проект одновременно разрушал старые судьбы и открывал новые.

Он лишал одних социальных позиций и стремительно поднимал других.

Именно поэтому он обладал такой мощной мобилизующей силой.

Человек мог буквально увидеть, что его социальная судьба перестала быть задана рождением.

Но не все большевистские цели подтвердились историей

И здесь необходимо поставить предел нашему тезису.

Если сказать просто, что «большевики правильно поняли будущее, но слишком спешили», мы сами окажемся в ловушке чрезмерного исторического оправдания.

Потому что часть большевистского проекта была проблематична не только по скорости осуществления.

Например, XX век вовсе не подтвердил необходимость полного уничтожения частной собственности как универсального условия социальной справедливости.

Большинство развитых стран пошло другим путем.

Они сохранили рынок и частную собственность, но дополнили их:

социальным законодательством;

прогрессивным налогообложением;

профсоюзами;

пенсионными системами;

государственным здравоохранением;

массовым образованием;

антимонопольным регулированием;

различными механизмами перераспределения.

То есть многие социальные цели, к которым стремились социалисты, оказались совместимыми с экономическим плюрализмом.

Следовательно, представление о том, что социальная справедливость требует обязательного уничтожения частной собственности на основные средства производства, исторического универсального подтверждения не получило.

Еще более проблематичной была идея политической монополии

Нельзя свести к «ошибке скорости» и убеждение, что общественное развитие требует монопольного политического руководства революционной партии.

Это уже вопрос не темпа, а самой конструкции политической власти.

После революции социалистические лозунги равенства и пролетарской демократии довольно быстро сосуществовали с формированием высокоцентрализованного партийного государства. В сравнительном исследовании революций Теда Скочпол именно это превращение революционной мобилизации в централизованную бюрократическую

партийно-государственную систему считает одним из ключевых результатов российского революционного процесса.

Следовательно, некоторые элементы большевизма нельзя оправдать формулой:

«слишком быстро шли к правильной цели».

Политическое общество без независимой оппозиции и без возможности смены власти не является просто ускоренной версией демократической модернизации.

Это **другая политическая модель**.

И за ее выбор большевизм отвечает отдельно.

Поэтому необходимо различить направление, маршрут и скорость

Здесь полезно провести три различия.

Первое — **направление**.

Что считается желательным?

Больше образования.

Меньше наследуемого социального неравенства.

Большая доступность медицины.

Равноправие мужчин и женщин.

Социальная защищенность.

Преодоление национальной и сословной иерархии.

Во многих таких вопросах большевики действительно оказались внутри широкого направления развития XX века.

Второе — **маршрут**.

Какими институтами к этому идти?

Через рынок или административное планирование?

Через многопартийную демократию или партийную монополию?

Через постепенное перераспределение или экспроприацию?

Через добровольную кооперацию или коллективизацию?

Здесь многие большевистские решения уже нельзя считать единственно возможными или исторически подтвержденными.

И третье — **скорость**.

Даже когда направление и отдельные средства могут быть рациональны, насколько быстро общество способно измениться, не разрушая человека?

И именно здесь большевистская модель достигла крайней формы.

Историческая трагедия возникла в соединении трех убеждений

Теперь можно свести воедино аргументацию предыдущих разделов.

Большевистская система исходила из трех предпосылок.

Первая:

Мы знаем, в каком направлении должно развиваться общество.

Вторая:

Это направление является не просто нашим нравственным предпочтением, но выражением объективного исторического процесса.

Третья:

Политическая воля способна значительно ускорить движение к этому будущему.

Каждая из этих предпосылок по отдельности еще не обязательно ведет к катастрофе.

Но их соединение создает чрезвычайно опасную политическую конструкцию.

Если цель правильна,

если история гарантирует правильность направления,

и если партия обладает знанием этого направления,

то сопротивление уже трудно воспринимать как равноправную альтернативу.

Оно становится отставанием.

Заблуждением.

Проявлением старого мира.

А следовательно — тем, что история все равно должна преодолеть.

И здесь начинается принуждение.

Главная проблема — не просто в плохих средствах

Поэтому привычная формула:

«цели были благородными, но средства оказались плохими»

недостаточна.

Она создает впечатление, будто между целью и насилием не существовало внутренней связи.

Но связь существовала.

Если государство ставит перед собой цель создать определенный тип общества **за срок, существенно меньший, чем время, необходимое самому обществу для добровольного изменения**, возникает структурная потребность в принуждении.

Особенно если отказ от поставленного срока воспринимается не как корректировка политики, а как предательство исторической миссии.

И тогда средство начинает вытекать из самой временной конструкции цели.

Не потому, что социальная справедливость требует насилия.

А потому, что **немедленная социальная справедливость, определенная одной политической силой как обязательная для всех, начинает требовать преодоления сопротивления тех, кто живет иначе**.

Именно это различие принципиально.

История показала возможность другого темпа

Особенно хорошо это видно при сравнении с развитием западноевропейского социального государства.

Запад не пришел к коммунизму.

Но в течение нескольких десятилетий значительно расширил социальные гарантии, доступ к образованию и здравоохранению, трудовые права и механизмы перераспределения. Само социальное государство стало одним из центральных политических проектов развитых западных стран первой половины и середины XX века.

Это не означает, что западный путь был безболезненным или что Россия могла механически повторить его.

Россия имела иную социальную структуру, иной уровень развития, иные последствия войны и революции.

Поэтому подобное сравнение не доказывает конкретный контрфактический сценарий для России.

Оно доказывает значительно более ограниченную, но важную вещь:

многие социальные цели большевизма в принципе не требовали ни однопартийной диктатуры, ни уничтожения политического плюрализма, ни форсированного преобразования всего общества в течение нескольких лет.

Следовательно, средства и скорость действительно являлись самостоятельным историческим выбором.

Но у большевиков существовал аргумент против медленного времени

Чтобы оценка была справедливой, необходимо признать и другое.

Большевики действовали не в спокойной исторической лаборатории.

После революции Россия пережила Гражданскую войну.

Затем страна оставалась значительно беднее ведущих индустриальных держав.

Существовало реальное ощущение внешней угрозы.

Советские руководители опасались, что страна просто не получит тех десятилетий спокойной модернизации, которыми располагали некоторые западные общества.

Поэтому идея ускорения имела не только идеологические, но и геополитические основания.

Именно этим позднее оправдывалась форсированная индустриализация.

Это обстоятельство важно для объяснения.

Но оно не решает моральной проблемы.

Даже реальная угроза не делает любую скорость и любые методы автоматически допустимыми.

Она лишь делает выбор трагичнее.

Возможно, большевики совершили ошибку, характерную вообще для модерна

В более широком философском смысле большевизм можно рассматривать как предельное выражение одной из великих надежд Нового времени:

если человек познал законы природы и способен технически преобразовывать мир, почему он не может столь же рационально перестроить общество?

Отсюда возникает грандиозная вера в социальное конструирование.

Экономика может быть спланирована.

Город — построен.

Образование — организовано.

Социальная структура — изменена.

Человек — воспитан.

Будущее — спроектировано.

Но человеческое общество оказалось не машиной.

У него существуют память, традиция, спонтанность, личная свобода, локальный опыт, культурные различия и непредсказуемые формы самоорганизации.

Именно поэтому проект, способный эффективно построить электростанцию, далеко не обязательно способен столь же эффективно «построить нового человека».

Это различие большевизм недооценил.

Их величайшая сила стала источником величайшей слабости

Большевики победили во многом потому, что обладали исключительной верой в исторический смысл собственного действия.

В 1917 году эта уверенность давала им преимущество.

Там, где другие сомневались, они действовали.

Там, где другие искали компромисс, они предлагали ясную цель.

Там, где окружающий мир казался распадающимся, они видели начало нового исторического порядка.

Но после победы то же качество изменило свою функцию.

То, что в революции было решительностью, во власти могло превращаться в догматизм.

То, что помогало преодолеть хаос, начинало подавлять обратную связь.

То, что позволяло действовать быстрее противников, теперь заставляло само общество двигаться быстрее его естественной способности к изменению.

То есть величайшее преимущество революционного движения становилось потенциальным недостатком государственного строя.

Поэтому ответ должен быть сложнее, чем «правы» или «неправы»

Большевики не были просто исторически «правы».

И не были просто исторически «неправы».

Такой язык вообще слишком груб для оценки столь сложного явления.

Часть поставленных ими социальных целей оказалась чрезвычайно жизнеспособной.

Часть их общественной модели не выдержала исторической проверки.

Некоторые методы являлись чрезвычайными ответами на реальные кризисы.

Другие были сознательным политическим выбором.

Многие достижения модернизации были реальны.

Реальной была и их человеческая цена.

Но если искать внутренний принцип, связывающий наиболее трагические стороны проекта, им становится именно соединение:

веры в прогрессивное будущее;

уверенности в научном знании пути к нему;

и стремления максимально сократить время его наступления.

Именно это соединение превращало политическую волю в инструмент ускорения истории.

Поэтому главная формула может звучать так

Большевики во многом угадали направление социального развития XX века, но решили, что десятилетия истории можно заменить несколькими годами политической воли.

К этой формуле необходимо добавить:

А уверенность в том, что направление известно безошибочно, превратила ошибку скорости в источник принуждения.

Это позволяет избежать сразу двух крайностей.

Не нужно объявлять ложными массовое образование, социальную защищенность, равноправие женщин, социальную мобильность и стремление преодолеть национальное неравенство только потому, что их осуществляло большевистское государство.

Но нельзя и оправдывать террор, политическую монополию или насильственную перестройку общества тем, что конечные цели казались справедливыми.

Правильность цели не создает права распоряжаться чужим историческим временем.

И возможно, именно это является главным нравственным уроком большевистского опыта.

Человек имеет право стремиться к лучшему обществу.

Общество имеет право преобразовывать свои институты.

Государство может ускорять образование, строительство, медицину и экономическое развитие.

Но никто не получает вместе с образом желательного будущего права объявлять живущего сегодня человека лишь сырьем для его построения.

Будущее не может обладать большей нравственной ценностью, чем человек настоящего.

Именно здесь сходятся все линии нашего исследования

Теперь можно увидеть всю цепочку целиком.

Российская империя не была экономически обречена.

Но она не нашла политического субъекта спокойной модернизации.

Революционный террор и ответные репрессии разрушали пространство доверия.

Мировая война сжала историческое время.

Февраль уничтожил старую легитимность быстрее, чем создал новую.

Начался социальный и территориальный распад.

В этих условиях преимущество получила дисциплинированная партия, способная предложить обществу исторический смысл и организационное действие.

Большевики восстановили государство, но построили его собственными политическими методами.

Многие из провозглашенных ими социальных целей оказались исторически продуктивными.

Но они попытались осуществить их быстрее, чем способно изменяться человеческое общество.

А когда жизнь не совпала с проектом, уверенность в исторической правоте партии позволила объявить проблему не ошибкой проекта, а сопротивлением самой жизни.

Отсюда и возникает итоговый парадокс большевизма:

они стремились освободить человека будущего, но слишком часто делали человека настоящего средством этого освобождения.

И поэтому последняя оценка большевизма должна быть одновременно исторической и нравственной.

Исторической — потому что нельзя судить его вне катастрофы, которая возникла задолго до Октября.

Нравственной — потому что никакая историческая обусловленность не уничтожает ответственности за собственный выбор.

Именно теперь можно перейти к заключению всей статьи:

как одновременно признать историческую обусловленность большевистской победы, социальную значимость части большевистских идеалов и моральную

ответственность за способы их осуществления — не превращая историю ни в обвинительный процесс, ни в оправдание победителей.

21. Финал: большевизм между неизбежностью и ответственностью

Теперь можно вернуться к вопросу, с которого начиналось наше исследование:

были ли большевики причиной русской катастрофы — или они сами были ее результатом?

После всего пройденного ответ уже не может быть однозначным.

Большевизм не был заранее предопределен.

Не существовало исторического закона, который обязательно должен был привести Российскую империю к Октябрю 1917 года.

Россия могла развиваться иначе.

После 1905 года сохранялась возможность постепенной политической модернизации.

Существовали экономический рост, аграрная реформа, Дума, местное самоуправление, развивавшееся гражданское общество.

Существовали либеральные и умеренно-социалистические проекты.

Даже после Февральской революции сохранялись варианты демократической республики, социалистической коалиции, федеративного переустройства и Учредительного собрания.

Но возможность альтернативы — не то же самое, что ее одинаковая доступность в любой момент времени.

Именно это различие оказалось центральным для всей нашей работы.

Октябрь не был предопределен — но становился все более вероятным

История России начала XX века постепенно сужала пространство возможного.

После 1905 года выбор еще был сравнительно широк.

К 1914 году нерешенные политические и социальные противоречия сохранились, а мировая война резко повысила цену каждой ошибки.

Февраль 1917 года уничтожил старую монархическую легитимность, но новая система власти не успела закрепиться.

Началось двоевластие.

Распадалась армейская дисциплина.

Земельный вопрос все чаще решался снизу.

Усиливались национальные движения.

Возникали региональные центры власти.

К осени государственный кризис достиг такой глубины, что современная историография рассматривает 1917 год не только как революционную мобилизацию, но и как масштабную демобилизацию армии, полиции, администрации и самого государственного механизма. Февраль дал мощный толчок этому процессу, а Октябрь затем еще сильнее его ускорил.

Поэтому вопрос постепенно менялся.

Сначала:

Как реформировать Россию?

Затем:

Какое государство построить после падения монархии?

А к осени все чаще:

Кто вообще способен осуществлять власть?

И именно на этот последний вопрос большевики имели чрезвычайно сильный ответ.

У них была организация.

Дисциплина.

Политическая воля.

Ясная система целей.

Способность мобилизовывать сторонников.

И главное — убеждение, что происходящий хаос имеет исторический смысл.

Исследование самого революционного процесса показывает, что к концу 1917 года именно хорошо организованные радикальные силы получали особое преимущество на фоне демобилизации и распада крупных институтов.

Это не делало большевистскую победу неизбежной.

Но делало ее все более понятной.

К осени 1917 года выбирали уже не между идеалом и катастрофой

В исторической памяти возникает соблазн представить альтернативу Октябрю слишком просто.

С одной стороны — нормальная демократическая Россия с парламентом, федерацией, частной собственностью и постепенными реформами.

С другой — большевистская диктатура.

Но осенью 1917 года такого чистого выбора уже не существовало.

Демократическая альтернатива сохранялась.

Будущие выборы в Учредительное собрание показали, что большевики вовсе не обладали поддержкой большинства страны: они получили около четверти голосов.

Следовательно, нельзя утверждать, будто общество единодушно выбрало большевизм.

Но столь же трудно предполагать, что поражение большевиков автоматически означало бы быстрое возвращение к стабильной демократии.

У любого другого правительства оставались бы:

война;

земельная революция;

распадающаяся армия;

финансовый и транспортный кризис;

региональная автономизация;

масса вооруженных людей;

конфликт различных источников политической легитимности.

Современные исследования именно поэтому предлагают рассматривать 1917 год как последовательный кризис двух государственных моделей — сначала самодержавной, затем либерально-революционной — и ставят в центр вопрос не только о социальных требованиях, но о самой способности России быть управляемой.

То есть к осени Россия все меньше выбирала между хорошим и плохим будущим.

Она выбирала между **крайне тяжелыми способами выхода из уже произошедшего государственного распада**.

Именно это необходимо помнить, прежде чем начинать моральный суд над Октябрем.

Но историческая обусловленность не является оправданием

Из всего сказанного легко сделать противоположную ошибку.

Можно решить:

если большевистская победа была глубоко подготовлена предыдущей историей, значит, большевики лишь исполнили историческую необходимость и не несут самостоятельной ответственности.

Но это противоречило бы всей логике нашего исследования.

Историческая необходимость — не отсутствие свободы.

Она означает только, что **пространство свободы уже ограничено предыдущими решениями**.

Большевики не выбирали Россию, которую получили.

Но они выбирали, что с этой Россией делать.

Они не создавали мировой войны.

Но выбирали способ выхода из нее.

Не они свергли Николая II.

Но они решали, каким будет новое государство после него.

Не они начали крестьянский земельный передел.

Но они определяли формы дальнейшего преобразования деревни.

Не они создали национальный вопрос.

Но они строили конкретную модель многонационального государства.

Не они изобрели политическое насилие в России.

Но они создали собственную систему государственного террора.

Не они уничтожили всю государственную систему в феврале.

Но после прихода к власти они сами продолжили демонтаж одних институтов и создание других. Исследования государственного распада 1917 года прямо отмечают, что большевистский захват власти также ускорил разрушение части старого административного аппарата.

Поэтому историческая обусловленность объясняет большевизм.

Но не оправдывает автоматически каждый его выбор.

Большевики были одновременно детьми катастрофы и создателями новой истории

В этом состоит один из главных парадоксов.

Без катастрофы 1917 года большевистская партия едва ли получила бы возможность захватить государственную власть.

Она была продуктом распада.

Но после победы партия сама стала источником новой исторической причинности.

Она создала Красную армию.

Построила новую систему управления.

Вернула под единый политический центр значительную часть пространства бывшей империи.

Создала СССР.

Одновременно она установила политическую монополию, ликвидировала конкурентную партийную систему и к началу 1920-х годов построила однопартийный режим.

То есть большевизм невозможно описать одним словом.

Он был одновременно:

революцией и государственным строительством;

разрушением и собиранием;

социальным освобождением и политическим принуждением;

открытием огромных возможностей социальной мобильности и созданием новых форм несвободы.

И именно поэтому его нельзя адекватно понять ни в языке демонизации, ни в языке апологии.

Были ли ложными сами большевистские идеалы?

Наш ответ также оказался неоднозначным.

Не все.

Более того, часть социальных требований, которые большевики формулировали в радикальной форме, оказалась частью общего направления XX века.

Право на образование.

Социальная защищенность.

Медицинская помощь.

Ослабление наследуемых сословных различий.

Расширение прав женщин.

Рост социальной мобильности.

Представление о том, что крайнее имущественное неравенство является общественной проблемой.

Идея равноправия граждан независимо от национального происхождения.

Все эти вопросы решались не только коммунистическим миром.

Исследования социальной истории Европы показывают, что именно XX век сделал социальные права — доступ к образованию, медицине, защите от бедности, старости и других жизненных рисков — существенной частью самого понятия современного гражданства.

Следовательно, нельзя сказать, что большевики просто пошли в направлении, противоположном развитию современного общества.

Во многих отношениях они действительно уловили мощнейшую тенденцию века:

переход от формального юридического равенства к требованию реального социального доступа к основным благам цивилизации.

Но из этого вовсе не следует, что весь большевистский проект получил историческое подтверждение.

История не подтвердила необходимости уничтожения частной собственности как универсального условия социальной справедливости.

Не подтвердила необходимости однопартийной диктатуры.

Не подтвердила, что политический плюрализм является лишь пережитком классового общества.

Не подтвердила и представление о том, что одна политическая теория способна дать окончательное научное знание будущего.

Значит, необходимо различать **социальное направление**, **политический маршрут** и **скорость движения**.

И именно скорость становится центральной проблемой

Мы начали статью с вопроса о революции.

Но в итоге пришли к вопросу о **времени**.

Это не случайно.

Российская трагедия XX века во многом была трагедией ускорения.

Первая мировая война впервые насильственно сжала историческое время России.

Она заставила решать одновременно вопросы, которые могли бы разрешаться десятилетиями.

Империя не выдержала этого темпа.

Но затем большевики сделали историческое ускорение уже сознательным принципом.

Индустриализация должна была состояться за считаные пятилетки.

Крестьянское общество — преобразиться практически за одно поколение.

Старая социальная структура — исчезнуть административно.

Новая интеллигенция — быть создана ускоренно.

Человек — приобрести новое сознание.

Многонациональное пространство — превратиться в новую историческую общность.

Именно здесь возникает центральный парадокс большевизма.

Будущее, которое во многих элементах действительно содержало универсальные социальные идеалы, оказалось поставлено в **сроки, не совпадавшие со скоростью человеческой жизни**.

Общество нельзя перестраивать со скоростью постановления

Закон действительно можно принять за день.

Завод — построить за несколько лет.

Но гораздо сложнее ускорить:

доверие;

культуру;

религиозное сознание;

отношение человека к собственности;

национальную идентичность;

семейную структуру;

хозяйственные привычки;

моральные нормы.

Все это обладает собственной исторической инерцией.

И когда проект начинает двигаться быстрее человека, возникает разрыв.

Перед государством открываются два пути.

Первый:

замедлить проект.

Второй:

ускорить человека.

Большевизм слишком часто выбирал второй.

Именно отсюда возникла та связь между исторической скоростью и политическим принуждением, которую мы проследили в предыдущих разделах:

Принуждение становилось способом преодолеть разрыв между скоростью исторической программы и реальной скоростью человеческой жизни.

Но даже это еще не обязательно делало бы систему столь опасной, если бы сохранялась возможность признать ошибку.

Решающим стало убеждение в собственной исторической правоте

Проблема скорости соединилась с проблемой знания.

Большевики были убеждены, что обладают не просто политической мечтой.

Они считали, что общее направление исторического движения научно известно.

Социализм должен прийти на смену капитализму.

Классовое общество — исчезнуть.

Партия должна выразить исторические интересы революционного класса.

И тогда возникала логика:

мы знаем будущее →
партия представляет это будущее →
проект исторически правилен →
сопротивление проекту становится сопротивлением историческому прогрессу.

Это и есть точка, где политический проект становится особенно опасным.

Потому что при обычной реформе сопротивление общества может означать:

возможно, мы ошиблись.

В догматической исторической системе оно означает:

общество еще не доросло до правильного будущего.

Тогда несоответствие жизни проекту начинает восприниматься не как возможная ошибка проекта, а как **дефект самой жизни**.

Именно это превращает ускорение из политического риска в потенциальный источник систематического насилия.

Поэтому нельзя ни демонизировать, ни оправдывать

Демонизация говорит:

большевики уничтожили нормальную Россию и создали все последующие бедствия.

Исторически это неверно.

Россия вступила в Октябрь уже после падения монархии, кризиса центральной власти, развала армии, аграрной революции и начала территориальной дезинтеграции.

Октябрь произошел **внутри революции**, а не начал ее.

Апология говорит:

раз большевизм был исторически обусловлен и реализовывал прогрессивные цели, все его методы были необходимы.

Это столь же неверно.

Историческая обусловленность не уничтожает альтернатив внутри оставшегося пространства свободы.

Политическая диктатура была выбором.

Уничтожение конкурирующих политических институтов — выбором.

Конкретные формы террора — выбором.

Форсированный темп коллективизации — выбором.

Монополия партии на определение исторической истины — выбором.

Следовательно, зрелая историческая оценка должна удерживать обе стороны одновременно:

большевизм был глубоко обусловлен предшествующей историей;

и

большевики сохраняли ответственность за решения, которые приняли внутри этой истории.

Историческая необходимость не уничтожает нравственность

Именно здесь можно окончательно вернуться к понятию исторической неизбежности.

Октябрь не был неизбежен в смысле предопределенности.

Но он становился все более вероятным по мере того, как исчезали альтернативы.

Решения предыдущих поколений постепенно создавали обстоятельства следующего поколения.

Политическая система не завершила модернизацию.

Революционные движения нормализовали насилие.

Часть общественной среды относилась к нему морально двусмысленно.

Война уничтожила запас времени.

Февраль уничтожил старую легитимность.

Новое государство не успело закрепиться.

Национальные и социальные процессы приобретали собственную динамику.

И все это постепенно создало осень 1917 года.

Историческая необходимость возникает здесь не как рок.

Она возникает как **накопление последствий человеческой свободы**.

Именно поэтому наша формула:

Свобода одного поколения становится ограничением свободы следующего.

имеет не только философский, но и нравственный смысл.

Каждое поколение получает историю, созданную другими.

Но затем добавляет к ней собственный выбор.

Так ответственность распределяется во времени.

И поэтому последний человек не может быть единственным виновником

Это относится и к большевикам.

Они оказались последней крупной политической силой в длинной цепи решений, приведших Россию к революционному кризису.

Но последний участник цепи не становится автоматически автором всей цепи.

Монархия отвечает за собственные решения.

Революционные террористы — за свои.

Либеральная и интеллигентская среда — за собственное отношение к политическому насилию.

Политические силы Февраля — за то, как они распорядились открывшейся свободой.

Национальные движения — за собственные решения в условиях распада имперского пространства.

Большевики — за способы захвата и удержания власти и за тот тип общества, который они затем строили.

Каждый отвечает за свое.

Но никто не отвечает за историю в одиночку.

Тогда каков итоговый ответ?

Он состоит не в оправдании большевиков.

И не в их оправдательном осуждении.

Он состоит в попытке вернуть истории ее реальную сложность.

Первое:

Большевики не создали русскую катастрофу 1917 года с нуля.

Они пришли к власти в стране, где старая государственная система уже рухнула, а новая так и не успела обрести устойчивость.

Второе:

Они во многом верно почувствовали направление будущего — социальную справедливость, массовое образование, социальные гарантии и преодоление национальной розни.

Не все элементы их проекта оказались исторически жизнеспособными. Но значительная часть социальных вопросов, поставленных революцией, действительно стала центральной для всего XX века.

И третье:

Но они попытались заставить это будущее наступить раньше его исторического срока — и разрыв между скоростью проекта и скоростью человеческой жизни начали преодолевать принуждением.

Именно здесь, возможно, находится самый глубокий нравственный смысл большевистской трагедии.

Они слишком доверяли будущему.

И слишком мало — способности настоящего человека самому прийти к нему.

Они стремились освободить человека от бедности, невежества, сословных ограничений и социальной зависимости.

Но слишком часто рассматривали конкретного существующего человека как материал для создания будущего освобожденного человечества.

Тем самым будущее получало нравственное преимущество перед настоящим.

Историческая цель — перед живым человеком.

План — перед жизнью.

Нравственный урок выходит далеко за пределы большевизма

И именно поэтому исследование большевизма имеет смысл не только как спор о прошлом.

Проблема значительно шире.

Любая идеология, которая утверждает, что окончательно знает желательное будущее, сталкивается с тем же искушением.

Если будущее известно,

если оно справедливо,

если оно неизбежно,

то почему не ускорить его наступление?

А если кто-то сопротивляется — почему позволять ему задерживать прогресс?

Именно здесь начинается опасность.

Не потому, что нельзя стремиться к лучшему обществу.

А потому, что знание желательного направления не дает знания всех последствий.

И тем более не дает права лишать другого человека собственного исторического времени.

Общество имеет право развиваться.

Но развитие человека не является производственным планом.

Культура не пятилетка.

История не инженерный проект.

И человек не материал будущего.

Поэтому последняя формула статьи должна сохранить обе стороны исторической правды

Нельзя снять с большевиков ответственность ссылкой на революцию, войну и распад государства.

Они принимали собственные решения и отвечают за них.

Но нельзя и перенести на них всю ответственность за историю, которая началась задолго до их прихода к власти.

Поэтому окончательный вывод может звучать только так:

Большевики несут ответственность за то, что сделали с доставшейся им историей. Но сама эта история была создана задолго до них — и к 1917 году уже почти не оставляла России безболезненных выходов.

Возможно, именно это и есть наиболее точный смысл исторической ответственности.

Не искать одного виновного.

Не оправдывать все необходимостью.

Не судить прошлое так, будто его участники знали наше будущее.

А понять, **какую свободу получил каждый исторический субъект, как он распорядился этой свободой — и сколько свободы оставил тем, кто пришел после него.**